

Анатолий Бурштейн



Одиссея советского еврея

Генезис пассионарности

Неизбежное предисловие

Как-то в давние советские времена пожаловал в Новосибирский Академгородок популярный в ту пору историк и этнограф Лев Николаевич Гумилев, который ввел в научный обиход новоизобретенный термин: пассионарность. В нем сублимировались такие качества как общественная активность, воодушевление, дерзание и воля к переменам всего и вся. На протяжении двухчасовой лекции он убеждал высоколобую аудиторию в том, что именно пассионарность отдельных исторических личностей или групп способна подвигнуть народы на внешнюю экспансию или внутренний катаклизм. Так становились империи и побеждали революции. Таковы были, в частности революции в России и Франции и даже Парижская коммуна была результатом взрыва пассионарности граждан Парижа. К счастью, пассионарны отнюдь не все и не всегда, притом разные народы в разное время и в разной степени.

– А евреи? – раздался сакраментальный вопрос с места.

– А евреи пассионарны всегда! – отвечивал многоуважаемый лектор.

С этим выводом созвучны и комплименты, и обвинения, раздавшиеся недавно в наш адрес со страниц последней книги Александра Солженицына «200 лет вместе».

Так-то оно так, но почему? Генетика ли о нас позаботилась или селекция жизнеупорных особей, закаленных недоброжелательной, зачастую враждебной средой обитания? Не найти ответа на этот вопрос, рассматривая евреев всех скопом, через призму истории, пусть даже и 200-летней. Да и к чему? Есть конкретный еврей – это я, – с биографией, досконально мне известной. На этом конкретном примере я намерен продемонстрировать, что карты, сданные мальчику из Одессы при его рождении, были сильными, но играть ими – и выигрывать научила жизнь, точнее дискриминация, еще точнее – антисемитизм.

Откровение

Мой родной язык – русский. Я родился в еврейской семье, интеллигентной в первом поколении: отец – преподаватель университета, мать – мединститута. Оба родились и подружились в Ананьеве, маленьком городке под Одессой, но отец был на два года старше и поэтому успел кончить пару классов хедера до революции. Благодаря этому он не только говорил, но и читал письма деда, написанные на идише ивритскими

буквами. Тем не менее, идиш звучал в нашем доме только, когда обсуждалось нечто, не предназначенное для моих ушей.

Я научился бегло читать еще до войны, в шестилетнем возрасте, но разделение людей по национальностям было осознано позднее, с началом бомбардировок Одессы, когда мир раскололся на немцев и наших. Отец был мобилизован с первых же дней войны, а мы с матерью и ее беременной сестрой с дочкой (моей ровесницей) покинули уже окруженную Одессу едва ли не последним пароходом. Путь держали в более безопасное место – Сталинград. Там жила семья брата этих 30-летних беженков, обремененных детьми. Помню, я опознал по характерному звуку немецкий самолет-разведчик, первым появившийся в небе Сталинграда. Строжилась мать на сына, умудренного одесским опытом: молчи, не сей паники. Но непуганые горожане уже толпились на перекрестках, тыча пальцами в небо. Война опять настигла нас, и после участвовавших бомбежек города мы снова отправились в путь, вниз по Волге и через бурный, штормовой Каспий – в Туркмению, где нам предстояло переждать войну.

Якорь был брошен в городе Мары, на границе с Афганистаном. В соседний с ним городок Байрам-Али эвакуировался Одесский мединститут, но сестры не вернулись на академическую стезю из патриотических соображений, а пошли на практическую работу. Мать возглавила местную санэпидемстанцию и стала по совместительству заместителем председателя Облсанотдела. Относительно высокое ее положение и неистощима энергия позволили ей собрать под одной крышей родителей отца и его сестер с детьми, которых эвакуация разбросала по разным городам. Мой дед оказался единственным мужчиной среди этой чисто женской команды с дошкольной молодежью. Все остальные – на фронте.

Жизнь переменялась: любимая няня – Дуня осталась на оккупированной территории, а я отправился в детский сад. Там-то мне и объяснили дети, что я – еврей, проще, жид. Это открытие произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Я был против, я был уверен, что я такой же, как все. Но вынужден был признать, что мы действительно евреи: языком взрослых в нашем дворе стал идиш. Из чувства протеста я решился на первую в жизни политическую акцию. Я написал листовку в нескольких экземплярах, где патетически утверждалось, что евреи – такие же люди, как все остальные вокруг. Таясь от окружающих, как подлинный революционер-подпольщик, я развешал свои листовки на деревьях, невдалеке от нашего дома, и с замиранием сердца наблюдал, как дед, сорвавший одну из них, с трудом – по слогам – вчитывался в немудреный русский текст. Мой! Однако вернулась с работы мать и по корявому детскому почерку быстро вычислила автора. После проведенной разъяснительной работы я перестал делать жизнь с товарища Дзержинского, чей дореволюционный опыт вдохновлял меня на подвиг.

Не знала мать, да и никому ведомо не было, что бытовой антисемитизм, посеянный войной, превратится в государственную политику, позаимствованную у врага. Мне же предстоит на ее глазах преодолевать этот путь, минуя аспирантуру и выгрызая свое место в науке в неравной борьбе с КГБ и иже с ним.

Я и моя команда

Описанный выше первый всплеск пассионарности можно было бы счесть детской причудой, плодом революционной романтики, навеянной агитационными брошюрами (ни телевидения, ни даже радио еще не было в обиходе). Но было еще кое-что в хилом и худом мальчике, которого сверстники именовали «шикилетом»: в этом скелете притаилось врожденное или почерпнутое из книг недюжинное честолюбие. Вдвоем с братом (кузеном) Леней мы ходили в один детский сад. Но братец, выросший в Ананьеве, был на год старше и физически намного сильнее меня и всех остальных в нашем саду. Очень скоро он стал общепризнанным вожаком в этом детском коллективе. Через год, уходя от нас (в школу), он передал мне власть по наследству, и я вкусил от нее. Но неверно было бы думать, что и мне она принадлежала по праву силы или теневой поддержки брата. Я укреплял свой авторитет не силой, а интеллектом. Я был единственным ребенком, свободно читавшим Пионерскую Правду, Жюль Верна и многое другое. Гайдаровская «Тимур и его команда» стала моим катехизисом. Но мне, как и Тимуру, нужна была своя команда, и ею стала наша детсадовская группа. Врезался в память такой эпизод. Сажу я за что-то наказанный на штрафном стульчике, а рядом, с двух сторон, сидят две девочки, тоже провинившиеся. Сидим, скучаем и, чтобы убить время, я читаю им вслух какую-то сказку. Слышу, шепчутся за моей спиной, но чтения не прерываю и вдруг обе проказницы (поклонницы?) синхронно впечатывают мне с разных сторон по поцелую, в обе щеки. Смутился, сделал вид, что ничего не заметил, но урок полигамии усвоил. Впрок.

На следующий год и я пошел в первый класс, где делать мне было абсолютно нечего, кроме как

получать пятерки и похвальную грамоту в конце учебного года. Посоветовавшись, моя мать и учителя решили, что и во втором классе мне делать будет нечего, и официально перевели меня сразу в третий. Все бы ничего, но, отучившись почти полгода, я вынужден был прерваться на месяц, ибо пришла пора возвращаться в освобожденную Одессу. В том же составе, но на этот раз в «теплушке», грузовом вагоне, кое-как приспособленном для перевозки людей, обогреваемых одной на всех печуркой. Но худшее было не в этом. По прибытию на родину я продолжил обучение в школе, где обязательным предметом был украинский язык, на котором в Одессе в то время разговаривали разве что только преподаватели соответствующей кафедры университета. За первый же диктант я получил 2: когда учительница диктовала – кома, крапка, – я так и писал бесхитростно, не подозревая, что это – запятая, точка. Язык я освоил, конечно, довольно скоро, но лед был сломан: неуды и тройки стали обыденным явлением, отнюдь, впрочем, не мешая мне жить. Я вступил в пионеры, и отправился отдыхать от трудов праведных в летний пионерский лагерь.

Вся пионерская рать таких лагерей составляла дружину, которая делилась на отряды, а те, в свою очередь, на звенья. На утренней линейке звеньевые, задрвав руку в пионерском салюте, отдавали рапорт председателям своих отрядов, а те в свою очередь рапортовали самому председателю совета дружины, который затем отдавал приказ о подъеме флага под радостный треск барабанов. Для меня это был соблазн, прямой вызов моему честолюбию, и я немедленно подался в звеньевые. Уж не помню, что вменялось нам в заслугу, и чем я выделился среди прочих, но к концу сезона я уже командовал отрядом. А был на дворе 1947 год. Голодный год на Украине. Зимой дети в классах грызли жмыхи – спрессованные плиты из шелухи семечек, предназначавшиеся для топки школьных печей. Летом из скудного лагерного рациона наверняка перепадало и обслуживающему персоналу. Дети жаловались родителям на недоедание и упрашивали забрать их домой досрочно. Мне же все это было нипочем. Я рос астеничным, «худерлявым» мальчиком и пищу приходилось буквально заталкивать мне в рот. Я был свободен от этой экзекуции и дезертиров не понимал и презирал. Наоборот, я уговорил родителей оставить меня на следующую смену и продолжил восхождение к вершине славы. В конце концов, я стал-таки во главе дружины и принимал рапорты отрядов перед подъемом флага. Пионерская дружина стала моей очередной «Тимуровской командой», но уже не унаследованной от брата, а обретенной самостоятельно и совершенно легально. Конечно, все это была игра и бутафория, но маленький мальчик отдавался ей совершенно бескорыстно и с поразительным рвением. Пассионарность рвалась наружу.

Но голод, как известно, не тетка. В конце – концов, и я проголодался и признался родителям, что есть у меня лишь одна мечта: улечься с книгой на диване и чтобы совсем рядом на стуле лежали бутерброды. Есть и читать, читать и есть, больше уже я ничего не хотел. С воплощением этой мечты кончилась моя пионерская карьера. Равно как и детство.

Посвящение в евреи

Как уже было замечено, перестав быть вундеркиндом, я учился так- сяк. Точнее, не помню как. Впрочем, учителя физики и математики 47-й одесской школы были отменными (Э.Д. Опендик и Б.Л. Креймер), так что с этими предметами я ладил, не то, что с английским языком и русским правописанием. Так продолжалось до окончания восьмого класса в 1950 году. Летом же этого года у меня состоялся откровенный разговор с отцом, который, вернувшись с войны, продолжил работать в университете.

Это событие стало переломным в моей судьбе. Отец недвусмысленно объяснил мне, что я – еврей, то есть отверженный то ли временем, то ли страной. Конкретно это значило, что поступить в вуз я могу лишь в том случае, если окончу школу с золотой или серебряной медалью. Только они позволят мне быть принятым в вуз без вступительных экзаменов. В противном случае меня засыпят на них как еврея. В эту пору я уже почитывал газеты и кое-что знал о космополитах, но то, что это слово – эвфемизм, мне объяснил отец. Он знал о том, что происходило в университете не из вторых рук. Но для меня это было открытием. Да, мы евреи, и только поэтому маминых родителей расстреляли в Ананьеве во время его оккупации, а один из моих соучеников прожил оккупацию Одессы в подполье, потеряв родителей и став свидетелем казней через повешение на Соборной площади. Но то – немцы. А тут – наши?

В это трудно было поверить, но приходилось считаться. И я закусил удила. Ах, так, вы хотите перекрыть мне все пути? Ну, так нате, выкусите! И с первых же дней девятого класса я бросился в учебу. В бой за медаль.

Это оказалось совсем не просто, выбиться из середнячков в отличники. Приходилось не только непривычно много работать, но и ломать инерцию мышления учителей, не ожидавших от меня этой внезапной перемены. Дольше всех сопротивлялась англичанка, но и ее удалось переубедить в конце концов. Я учитывал,

что быть превосходно готовым по всем предметам сразу едва ли возможно и вел скрупулезный учет оценок и дат, когда они были получены. Учитывалась стратегия большинства учителей: вызывать всех учеников по разу и лишь затем переходить к вторичному их опросу. Когда очередь подходила, я изучал предмет особенно тщательно, пусть даже за счет остальных. Результаты не заставили себя долго ждать: уже первую четверть я окончил почти со всеми пятерками. Последней сдалась англичанка. Это был мой первый триумф. Я убедился, что способен добиться невозможного ценой усердия и целеустремленности. Попутно я сделал еще одно открытие. Оказалось, что в дальнейшем быть отличником почти так же легко, как прежде середнячком: теперь инерция преподавательского мышления работала на меня. Я получил свободу и время поразмыслить о жизни.

В плену доктрин и идеалов

Начиная с восьмого класса, если не с седьмого, учеников начинали принимать в комсомол. Вступление было достаточно формальным, хотя и требовалась минимальная политическая осведомленность. Иначе дело обстояло со мной: я вступил едва ли не последним в нашем девятом классе. До этого момента я все размышлял, принимаю ли я коммунистическую доктрину и что она в сущности такое. Эти размышления шли не от сомнений, отнюдь. Их не было и в помине, ибо не была доступна никакая правдивая информация, одна лишь бравурная пропаганда. Мы росли, как одна наивная героиня Мопассана в публичном доме ее матери, замаскированном под великосветский салон, и чистосердечно верили лжи. Может показаться странным, но ни один из 30 соучеников в моем классе никогда не заикался о том, что кто-то из близких или знакомых пострадал от репрессий. Несомненно, что это было, не могло не быть, но было и табу: не говорить, даже не заикаться. Отец с фронта прислал завернутый в ватин немецкий приемник Филипс с репродуктором, проткнутым штыком. Он оживил его, когда вернулся, и я с изумлением слушал, как разные «голоса», поначалу не глушимые, вещали о тюрьмах и концлагерях в СССР. Помню, я диву давался: как же глупа эта буржуазная пропаганда. Где они – эти тысячи заключенных? Да, есть пленные немцы, марширующие колоннами по Одессе и восстанавливающие то, что сами разрушили. Но наших среди них нет, это сущее вранье. Мы свято верили в правоту газет, внушавших нам, что мы свободны. Но именно поэтому я должен был свободно сделать свой выбор, который, в сущности, был predetermined. В конце концов, я изобрел нечто вроде доморощенного «разумного эгоизма», из которого следовало, что коммунизм – это самое идеальное состояние общества.

По правде говоря, трудно было бы ожидать другого вывода от недоросля. Ведь коммунизм – это репродукция детства, когда все равны перед родителями, которые добывают и поровну распределяют все блага, независимо от заслуг. Сказано ведь: «у того нет сердца, кто смолоду не был коммунистом, но у того нет ума, кто остался им в зрелости». Зреть мне предстояло еще, как минимум, 15 лет, а тогда в апреле 1951 года я вступил в комсомол.

Вступил, и сразу же был избран в комсомольское бюро класса, заместителем комсорга по идеологии. А класс у нас был незаурядный. Мы учились в мужской школе, с девочками сталкивались от случая к случаю, главным образом, летом. Зато зимой, в школе, мы были сплоченной и шкодливой гоп-компанией, если не бандой. Приходя в школу в понедельник утром, каждый кричал с порога: «Хлопчики, скоро суббота!» А все вместе сотрясали школу, синхронно подпрыгивая на переменах. Однажды разъяренный директор ворвался в класс и заорал не своим голосом: ВОИ!!! Класс замер, не веря своему счастью, а, очнувшись, тихонько, по одному потянулся к дверям, на которые нам указали. Собравшись на улице, мы дружно, с гиканьем понеслись в кино, на очередную серию «Тарзана», тогдашнего американского блокбастера.

При этом мы увлекались, кто музыкой, кто оперой, кто поэзией, взаимно обогащая друг друга. Что не мешало нам орать в упоении:

Бей Полякова и Вайсбурда убей,

А потом снова убей учителей!

Эти с позволения сказать вирши, сочиненные мной на мотив популярной песенки, ровным счетом ничего не значили. Вайсбурд был комсоргом и отменно остроумным парнем, потешавшим весь класс своими неожиданными репликами на уроках. Поляков тоже ничем не провинился, просто пассионарность отдельно взятого класса искала выхода наружу.

В конце концов, она его нашла. Неожиданно вспыхнула война между Южной и Северной Кореей, и последняя нуждалась не только в помощи наших МИГов, давших жару американцам, но и в обыкновенном

металлоломе, из которого они якобы делались. Школы Одессы, как и отдельные классы, устроили соревнование между собой: кто больше соберет. Мы включились в него с энтузиазмом, шныряя по развалкам (разрушенным домам) и выкорчевывая там железные балки, торчащие из-под руин. Как-то однажды добыли где-то заржавевший остов машины, погрузили его на грузовик и, взгромоздившись сверху, с гиканьем и свистом доставили его на школьный двор, присоединив к другим трофеям.

Но были среди нас и отщепенцы: несколько приклатненных мальчиков, не пожелавших участвовать в этом фарсе и заслуженном комсомольском триумфе.

Это был прямой вызов всем остальным, и он был принят. На комсомольском собрании было решено объявить им бойкот, и сделать это должен был я. Сказано – сделано. В гробовой тишине, вещая с учительского места, я огласил на большой перемене наше решение и его мотивы. Возражений не последовало, но обе стороны напряглись. Одесские урки могли прореагировать по-разному. Например, «пописать» обидчика, то есть полоснуть бритвой по лицу, как это случилось с одним из моих кузенов постарше, схватившем вора за руку в трамвае. Как впоследствии выяснилось, класс учитывал эту возможность и мобилизовал двух самых дюжих наших товарищей неявно сопровождать меня из школы домой, во избежание худшего. Так продолжалось несколько дней, но потом все рассосалось. Парадоксально, но с неформальным лидером «отщепенцев», Толиком Ткаченко, мы даже сблизились впоследствии и вместе готовились к экзаменам на аттестат зрелости.

Медаль

Самое время рассказать кое-что и об этих экзаменах. Девятый класс я закончил одновременно с 6-м классом музыкальной школы. На следующий год предстояло одновременно кончать и общеобразовательную школу, и музыкальную семилетку. Как всякий еврейский мальчик, я был обречен терзать скрипочку с малолетства, но «вист» становился ответственным. Занятия музыкой могли стать серьезной помехой на пути к вожделенной медали, и я убедил родителей, что мне следует оставить их. Кажется, это называется целеустремленностью. Но не родная ли она сестра пассионарности?

Самостоятельность суждений была у меня в крови, я с ней родился. Незадолго до описываемых событий в печати появились широко растиражированные статьи Иосифа Виссарионовича о языкознании. Среди прочего там утверждалось, что человек мыслит словами. Я был обескуражен, потому что осознал, что я мыслю образами. «Пойми, – объяснял я отцу – я ведь не говорю себе, что иду, мол, в школу, а мгновенно выстраиваю в воображении весь этот путь со всеми его поворотами, вплоть до школьных дверей. Как отразить это словами? Я мыслю образами». Как же так, вяло парировал отец: Он же великий ученый, не может Он ошибаться. Но не в коня корм: я оставался при своем мнении. И это притом, что Сталина я искренне любил и уважал как вождя и светоча революции, недоумевая, почему он так редко выступает по радио и так мало говорит внимающему ему народу.

Не поколебала эту веру и беда, случившаяся с моей матерью. Ее кандидатская диссертация не была утверждена ВАКом из-за недостаточного цитирования отечественных ученых. В эпоху космополитизма это требовало оргвыводов, и они незамедлительно последовали. Некто Дейнека, посаженный директором мединститута, попытался (и несколько раз!) ее уволить, как сделал это с большинством евреев, профессоров и доцентов, вернувшихся с фронта. Я рвал и метал. Я был готов стрелять в того, кто инспирировал эту кампанию. Было бы оружие, да знать бы в кого. Но в том-то и дело, что били втемную: неясно кто и неведомо за что. Официально дружба народов продолжалась, и непосвященные люди во все это верили. Мать знали не только как отличного преподавателя, но и как активного члена партбюро института. И именно это партбюро всякий раз горой становилось в ее защиту, предотвращая худшее. Я терялся в догадках, но менее всего я грешил на Сталина.

Это-то и предрешило судьбу медали. Отличные оценки за год – это необходимое, но легко выполнимое условие. Решающим же являются выпускные экзамены: письменные работы по математике и русскому языку. Буквально за неделю до них нас собрал Бэрчик (Борис Львович Креймер, любимый учитель по математике) и объявил, что для отличной оценки мало будет правильно решить задачу, но надо будет еще и проанализировать область применимости полученного решения. Этого не было в школьной программе, которую мы проходили, и поэтому он наспах дал нам разъяснения на паре простых примеров. Я осознал, что к любым словесным объяснениям экзаменаторы-контролеры смогут придраться, если фамилия им не понравится. Поэтому мой анализ не содержал ни единого слова: только алгебраические соотношения и неравенства, неоспоримые как $2 \times 2 = 4$. В результате – пятерка, едва ли не у единственного еврея в классе.

На очереди – сочинение. Написал и жду. И тут подходит ко мне Таисия Сысоевна – наша русачка, дореволюционной закваски, и заявляет: будет тебе тройка. За что? Запятая пропущена, но самое ужасное, что опять допущена та же ошибка, из-за которой уже дважды снижалась мне оценка за сочинения в прошедшем году. Человек может сказать «Я видел сон (собаку, лунное затмение)», но должен говорить «Я не видел сна (собаки, лунного затмения)», коль скоро наличествует отрицание («не»). В принципе, она была права, но такого правила в советской школьной грамматике не было, а в живом одесском языке оно и вовсе не соблюдалось. Не мудрено было и ошибиться, но чтобы из-за одного этого лишиться медали, а затем и университета – это уж слишком.

Глубоко опечаленный, я вернулся домой, но не горевать, а опровергать. Сколько-то времени я рылся в сочинениях Горького и – страшно сказать – Сталина, но нашел такие же «ошибки» у них обоих. Вооруженный ими, я мог не видеть дурной сон, собаку, и даже лунное затмение. Вернувшись в школу, я выложил на учительский стол свои аргументы и спасся. Разумеется, мне было совершенно невдомек, какой эффект они могли произвести на учительницу в 1952 году. А ну как настырный ученик «попрет» со своими аргументами в РОНО, где проверялись сочинения, и выяснится, что он был наказан только за то, что доверял и подражал товарищу Сталину, нашему любимому вождю и непререкаемому авторитету в области языкознания. Может быть, учитель не согласен с т. Сталиным, или он сторонник разгромленного лжеучения Марра, или даже – боже упаси – враг народа? В общем, твердую четверку я себе обеспечил, равно как и медаль, пусть не золотую, но серебряную. Впрочем, это было мне «без разницы», как сейчас говорится: в одесский университет, на физико-математический факультет, я был принят без экзаменов.

Наградой мне было беззаботное лето, поделенное между морем и чтением. В старинной, богатейшей библиотеке университета имелаась картотека, для каждой страны отдельно, где в алфавитном порядке были представлены все ее заметные писатели, точнее все их произведения, переведенные на русский язык. В школе мы учили только «родную литературу», но я вычитал у Горького, что французская все же лучше, и начал с нее, автора за автором. «Кола Брюньон» стал моей библией, школой жизнелюбия, а, узнав, что обожаемый главный герой зачитывался Плутархом, я переключился на античную литературу. Дошла очередь и до немецкой, английской, американской. Устав от чтения, я отправлялся на ставшую мне доступной университетскую лодочную станцию, брал гичку и уходил в море часа на 3 встречать закат.

Несомненно, что чтение переформировало меня как личность. Однако не все комсомольские стереотипы и иллюзии рухнули. Когда я читал, что Жюльен Сорель ради спасения троих, не раздумывая, отправил бы на гильотину двоих, я с легкостью соглашался с этой немудреной арифметикой. Мир перестал быть одномерным, но я все еще оставался хунвейбином.

Мои университеты

Выбор факультета был для меня совсем не прост. Мои пристрастия равно распределялись между гуманитарными и точными дисциплинами, изучавшимися в школе. Мне нравилось, когда решались сложные задачи, но я вовсе не был уверен, что это мое истинное призвание. Каковым оно было у некоторых моих соучеников, давно сделавших свой выбор. Скорее всего, я выбрал бы философский факультет, но, к счастью в ОГУ такового не было. Против всякого обыкновения, я даже обратился к Бэрчику за советом, следует ли мне идти на физмат. Ответ был напористым и безапелляционным: «Идите, идите, Бурштейн, даже не раздумывайте». И я пошел.

Впрочем, был у меня еще один мотив: мне представлялось важным оставаться творческой личностью вплоть до смерти. Увы, я знал лишь одну профессию, удовлетворяющую этому требованию. Кисть выпадает из рук художника лишь при последнем его дыхании. Так я полагал, но этим инструментом не владел вовсе. И вдруг счастливый случай: мне попадает в руки пропагандистская брошюра о жизни и деятельности академика Зелинского, в прошлом моего земляка, одессита. Едва ли не в 90 лет он получает за свою научную деятельность Сталинскую премию. Значит, не только жив курилка, но и работоспособен. Уверовав чистым сердцем в эту небылицу, я выбираю науку.

Но пристрастие к философии не проходило, и на первом курсе я примкнул к семинару по предмету оному, который вел бывший фронтовик, преподаватель научного коммунизма проф. Штернштейн. Участники семинара разбирали темы докладов, которые им предстояло сделать, и я выбрал себе совершенно нетривиальную: «О мечте и творческом дерзании». Страна «мечтателей и ученых» распевала в ту пору «Марш энтузиастов», убеждая каждого что «мечта прекрасная, еще неясная, уже влечет тебя вперед», а «нам нет преград, ни в море, ни на суше». Солидаризуясь с этим, я взялся доказывать на примерах и цитатах,

почерпнутых из истории и литературы, что, дескать «мечта сбывается, товарищ».

Доклад прошел гладко, но в конце дискуссии один из старшекурсников спросил меня без обиняков: «Ну а Вы, Вы лично, о чем мечтаете?» Ответил простодушно: стать ученым. «Неправильно – отрезал старшекурсник, – мечтать надо о том, чтобы работать там, куда партия пошлет». В какой-то степени он был прав: студент-еврей в те годы даже мечтать не мог о научной карьере. Сам Штернштейн, встретив меня в коридоре университета, заговорщицки прошептал: «Мечтайте, Бурштейн, мечтайте, только не говорите об этом».

Тем не менее, я говорил «об этом» еще несколько лет в заводских и сельских клубах Одесской области, став членом, а затем и руководителем лекторской группы университета. Только сейчас я отдаю себе отчет в том, с каким изумлением пялились на нездешнего мечтателя простые работяги и крестьяне, согнанные в обшарпанные пустующие клубы для «повышения уровня». Однако «тимуровская команда» юных лекторов работала с энтузиазмом, считалась лучшей в городе (если не единственной) и не было отбоя от заявок, которые принимали наши дежурные в комитете комсомола университета. Мы были «истинно верующими в коммунизм» и гордились его пропагандой, доверенной нам комсомолом. Это был один лик пассионарности. Но был и другой.

На летние каникулы младшие курсы отправлялись на месяц в колхозы для помощи в сборе урожая (кукурузы, капусты, картошки и т. п.). В первый раз наша группа, состоявшая из отпрысков интеллигентных городских семей, попала в очень неблагополучное хозяйство. Собрать было почти что нечего, а есть и вовсе ничего не было. Начался форменный голод, к которому баловни судьбы были непривычны. В группе начался разброд и ссоры, все больше возвышались голоса дезертиры, агитировавшие за немедленное возвращение в город. Я не хотел сдаваться и ратовал за поиск иного выхода из положения. В этом непутевом совхозе все делалось спустя рукава, и я был уверен, что и картошку убирали так же. А это значило, что можно было выкопать оставшуюся: много ли надо на еду 20 студентам. Со мной не только не согласились, меня высмеяли, а это было уже чересчур. Я отправился в поле сам, и довольно быстро насобирал себе на обед. Последний происходил в столовой, за общим столом, на который подавалась обычная несъедобная бурда. И вот посреди этого «пиршества» повар неожиданно выносит и ставит передо мной тарелку полную румяной, хрустящей, жареной картошки, которую я начинаю есть с самым невозмутимым видом.

Взрыв зависти и негодования. Вся группа мгновенно презирала меня то ли за то, что оказался прав, то ли потому, что не накопал на всех. Разумеется, я доедал свой аргумент не один, а «со товарищи», но он уже стоял комом. Отношения с остальной группой были испорчены раз и навсегда. Это был мне урок на всю жизнь – не доказывать свою правоту «от противного»: вот, мол, страдаете за свою косность – тогда и образумитесь. Не образумятся, а обозлятся. Народ надо ублажать и обольщать. Вот поставил бы я тогда картошку на середину стола для всеобщего съедения – эффект был бы прямо противоположным. Впрочем, гнев всей честной компании очень скоро обратился на нашего старосту, удерживавшего нас на месте высокого предназначения. Он сломался, и группа бежала в город.

Однако тем же летом я соблазнил-таки нескольких студентов поездкой в Москву, где удалось поселиться в пустующем университетском общежитии и облазить весь город. Впрочем, особенного впечатления после Одессы он не производил, казался эклектичным и чопорным – на улицах никто не пел. Иное дело – Ленинград, куда я привез группу следующим летом, подработав на частных уроках. Но об этом ниже.

Старт

Учился я хорошо, вернее, отлично (единственная четверка за все время учебы). К этому, кроме прочего, побуждали обстоятельства. После окончания школы я лишь столовался и жил дома, все же остальное, включая упомянутые выше поездки, оплачивал сам из своей стипендии и побочных заработков. А повышенная стипендия отличника была на 25 % выше обычной. Но не это, главным образом, стимулировало мою учебу. Я рвался в науку, но уже трезво осознавал, что даже круглому отличнику-еврею место в аспирантуре не светит. Необходимо было вылезти из кожи вон, чтобы мечта стала осуществимой. И я полез.

К счастью, образование на первых курсах, поставленное еще до революции, было отменным, и я был славно подготовлен, чтобы дерзать самому. Такая возможность представилась на втором курсе, когда потребовалось сделать первый шаг – написать курсовую работу. Как правило, это всего лишь грамотная компиляция известных результатов, но мне нужен был свой, непременно оригинальный. Озабоченный этим, я

предстал перед милейшим пожилым экспериментатором, доцентом Демидовым, и попросил дать мне такую работу, в которой я мог бы проявить самостоятельность. Мэтр напрягся и сосредоточился, взяв со стола физическую энциклопедию, и, распахнув ее наудачу, ткнул пальцем в открывшуюся страницу.

– Вот – сказал он – эффект Пельтье. С его помощью вскоре будут получать сверхнизкие температуры. Займитесь этим.

Сказано сделано. Я поднял литературу и осознал, что криогенными температурами здесь и не пахнет, хотя умеренное охлаждение или, напротив, нагрев осуществлять можно – с помощью полупроводниковых элементов. Более всего привлекла мое внимание статья академика А.Ф. Иоффе – посажённого отца советской физики, – в которой он рассчитывал эффективность этих устройств и сулил им большое будущее. К сожалению, понять, откуда берутся эти расчеты, приведенные автором без надлежащей аргументации, оказалось совершенно невозможно. Последняя, как потом выяснилось, была засекречена и не подлежала оглашению. Раззадорившись, я засел за работу и вывел все сам, от начала и до конца. Но вот беда – мои результаты отличались от опубликованных Иоффе. Мой «руководитель», экспериментатор, ничем не мог быть мне полезен. Оставалось лишь одно: объясниться с самим автором.

Легко сказать. В Одессе даже кандидат наук не снизошел бы до объяснений со студентом, а академик на их фоне выглядел и вовсе недоступной вершиной. К тому же ее координаты были неизвестны: я лишь нашел в старом журнале фотографию созданного Иоффе в Ленинграде Физико-технического института. «Ищите где-то в Лесном», – напутствовал меня Демидов. С этим я и выехал в очередную экскурсию летом 1954 г., прихватив свою курсовую работу. Сразу по прибытии я отправился в Лесное, вопрошая каждого встречного и поперечного: где же тут искомый институт? Но лишь один прохожий удостоил меня вниманием: «Вы совершенно зря тут ищете: никто здесь не знает, где расположен этот совершенно секретный институт, но я там работал и укажу Вам путь».

Так я его и нашел. То есть институт, но вовсе не Иоффе. Последний был выдворен из него во время космополитической кампании, и только после смерти Сталина получил в утешение лабораторию полупроводников, впоследствии преобразованную в Институт. Лаборатория размещалась в здании бывшего французского посольства на набережной Невы по соседству с Зимним дворцом. Туда-то меня и принесли ноги, в конце концов. Поднявшись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, я робко обратился к одной из сотрудниц лаборатории, но встретил отнюдь не дружественный прием. Занята, мол, делом, а тут, как назло, крутятся всякие, отвлекают. К моему счастью, откуда ни возьмись, в разговор встрял высокий, худой и слегка сутулящийся человек, назвавшийся Стильбансом, который не только выслушал меня, но и оставил у себя мою курсовую для более детального ознакомления, попросив прийти через неделю.

Эту неделю я совершенно счастливый бродил в одиночестве по Ленинграду, охмелев от восхищения открывшимся мне городом, его дворцами и набережными, каналами и мостами и, конечно, картинными галереями. Когда же я вторично посетил лабораторию полупроводников, Л.С. Стильбанс объявил, что моя курсовая очень интересна, но дублирует нечто, сделанное Иоффе, и глубоко засекреченное. Чтобы ознакомиться с этим, он советовал, возвратясь в Одессу, получить допуск (к секретным материалам, которые мне будут предоставлены). А, пока суть да дело, со мной хочет познакомиться сам академик, к которому меня и доставили. Это был мой звездный час. После краткой благожелательной беседы «папа Иоффе» вручил мне письмо к ректору Одесского университета, в котором просил командировать к нему студента Бурштейна на зимние каникулы.

«Папа Иоффе»

Просьбу уважили, и зимой я снова оказался в Питере, но не как турист, а с научным визитом. Сразу по прибытии Абрам Федорович вручил мне препринт своей очередной книги, чтобы ознакомиться и прокомментировать. После прочтения комментариев набралось десятка два, но самое важное состояло в том, что мои расчеты эффективности термобатарей оказались корректнее и изящнее приведенных в рукописи. (Когда впоследствии мне прислали-таки изданную в 1950 г. книжечку Иоффе, с замазанным грифом СЕКРЕТНО на обложке, выяснилось, что они были взяты именно оттуда.) Как же убедить в этом академика? О том, чтобы сделать это самому, я и не помышлял, боялся нарушить субординацию. Вместо этого я поплелся к тамошнему теоретику, Т. А. Конторовой, и попросил ее взять эту миссию на себя. Осознав, что от нее требуется, она усталилась на меня как на паууса (каковым я и в самом деле был в своей Папуа, у самого синего моря), но затем, смягчившись, разъяснила мне, что в здоровой научной среде это не принято.

– Это Ваши замечания и только Вы должны изложить и обосновать их, лично. К тому же кроме Вас эту книгу в лаборатории никто в глаза не видел. Идите, не смущайтесь, академик очень прост в общении, он Вас не съест.

Я и пошел. Беседа продолжалась добрый час или два, после чего Абрам Федорович сказал:

– Если Вы не возражаете, я позаимствую у Вас эти формулы с благодарностью, которую отмечу в книге.

Какие там возражения! Я был растроган и горд. И возвращался домой с письмом академика, фотокопию которого храню как реликвию и поныне:

№133.54

8 февраля 1955 г.

Ректору Одесского Гос. Университета

Проф. С. Лебедеву

Студент 3-го курса А.И. Бурштейн работал в Институте полупроводников АН СССР с 15 января по 8 февраля 1955 г. продолжая свои исследования в области энергетических применений термоэлектричества. За это время им получен ряд существенных результатов имеющих практическое и теоретическое значение.

Директор Ин-та полупроводников Академии Наук СССР

Академик _____ /А.Ф. Иоффе/

Никто, кроме адресата и моих родителей, никогда не видел этого письма, и никому ничего не было ведомо о моих научных дерзаниях. Я интуитивно чувствовал, что еврею вредно «высовываться», колоть глаза своими успехами. И так держал. Предвосхитив советы, раздаваемые в последней книге Солженицына ушедшим поколениям евреев, равно как и будущим (если таковые в России останутся).

Исключение из этого правила было сделано лишь однажды, по особому случаю. На четвертом курсе я вознамерился опубликовать часть своих результатов в студенческом сборнике, периодически выпускаемом университетом. Увы, мой единственный рецензент, доцент Векштейн, по-видимому, полагал, что гусей и вовсе дразнить не следует. Выступая, судя по всему, от их имени, он дал моей статье следующий, с позволения сказать отзыв: «Это, конечно, похвально, что студент Бурштейн дерзает делать то же, что и академик Иоффе, но это ни о чем ином не свидетельствует, кроме как о его чрезмерном самомнении». Взбешенный такого рода «отрицательным» отзывом, я спросил его:

– Вы и в самом деле считаете, что я не сделал ничего нового?

И получив утвердительный ответ, выложил на стол вышеприведенный отзыв:

– А вот, что по этому поводу думает сам Иоффе.

Немая сцена. Но поезд ушел, статья так и не была опубликована. Такова пресловутая солидарность (взаимопомощь и поддержка) евреев.

Еще более близко к сердцу я принял историю с другой, более фундаментальной статьей, посланной мною ничтоже сумняшеся в Институт полупроводников в январе 1956 г. для направления во всесоюзный Журнал Технической Физики. Я был совершенно уверен в успехе, так как статья была апробирована Л.Л. Коренблитом, известным авторитетом в этой области, работавшим тогда с А.Г. Самойловичем в Черновцах, на Украине. Я послал ему работу по собственной инициативе и получил уважительный, очень лестный отзыв от специалиста, впоследствии перешедшего в Институт полупроводников, а затем севшего по делу о «самолетчиках», чтобы, в конце концов, осесть в Израиле. В институте об этом отзыве ничего не знали

и на всякий случай передали статью на экспертизу в теоретическую лабораторию. Вскоре оттуда поступил безапелляционно отрицательный отзыв кандидата физико-математических наук, некоего Мойжеса.

Это впоследствии я убедился, что ревнивые и/или тенденциозные рецензии – обычное дело в научной практике (особенно, когда они анонимные). Некоторые журналы даже просят указывать не только желаемых, но и нежелательных рецензентов при направлении статей в печать. Ничего этого я тогда не знал, и был глубоко уязвлен несправедливостью. В ярости я написал аргументированную, но очень резкую отповедь моему оппоненту, и дело было передано арбитру, каковым был избран заведующий той самой лабораторией, профессор А.И. Ансельм. Увы, он вступился за честь мундира, и я махнул на все рукой.

Как ни странно, но история эта имела счастливый конец. Как главный редактор журнала Иоффе проигнорировал всю эту канитель, и статья была опубликована в августе 1957, как раз после госэкзаменов в университете. Более того, за год до этого вышла из печати та самая книжка Иоффе, которую я корректировал, с обещанной благодарностью. Но какой! Автор выражал «свою благодарность студенту Одесского Государственного университета А. И. Бурштейну ... за уточнение приводимых в книге расчетов». Ничего себе: мастер во всеуслышание благодарит подмастерье за исправление собственной работы. Наверное, он представлял себе всю безысходность моего прозябания в провинции. Сам происходивший из крещеных евреев, он тоже не был свободен в выборе в царской России, и вынужден был учиться в Германии, правда, у самого Рентгена. Я же имел схожие проблемы, но уже с советской властью. Впрочем, и он сам, лишь недавно изгнанный из созданного им Физико-технического института (нынче имени Иоффе), имел свои счеты к ней. Возможно, что благодарность, выраженная мне таким образом, была по сути брошенным мне спасательным кругом. Но не от еврея еврею, а от гонимого гонимому. Моя последняя книга, «Введение в термодинамику и кинетическую теорию материи», изданная (и переизданная) в США одним из лучших научных издательств (John Wiley & Sons), посвящена «светлой памяти папы Иоффе».

Физинститут

Увы, учиться на старших курсах одесского университета было не у кого. Все мало-мальски стоящие ученые в Советском союзе концентрировались в столицах. Я хотел было перевестись в Ленинград с 4 курса, но на письме патриарха советской физики академика Иоффе, ходатайствовавшего за меня в июле 1955 г., исполняющий обязанности ректора ленинградского университета наложил размашистую резолюцию: «Отказать за неимением мест». Полемизировать с ним Иоффе считал ниже своего достоинства. Он написал мне 13 августа 1955 г., что намерен дожидаться возвращения из летнего отпуска подлинного ректора, академика А.Д. Александрова, известного своей независимостью. К сожалению, в текучке буден это забылось, а напоминать о себе через доброхотного посредника, Стыльбанса, начинавшего тяготиться нежданым опекуном, становилось непристойным. К тому же я был сильно уязвлен высокомерным отношением ко мне институтских теоретиков. Кроме того, став старше, я изрядно разочаровался в случайно подвернувшейся прикладной тематике и в дипломной работе намеревался обратиться к более фундаментальной и чистой науке.

Короче, я решил поставить точку, «завязать» с прошлым. Как вдруг встречаю ненароком заведующего кафедрой теоретической физики профессора Костарева, который настойчиво предлагает мне вернуться к термоэлектрической деятельности, предлагая себя в качестве руководителя дипломной работы. Оказалось, что Институту физики – филиалу нашего факультета – предложена хоздоговорная работа на эту тему, заказанная и оплачиваемая московским ЦНИИ железнодорожного транспорта, а выполнить ее мог только один человек в ОГУ. Об этом прослышал в Ленинграде заведующий лабораторией этого ЦНИИ Иосиф Матвеевич Рубинчик, который помышлял о докторской диссертации, нуждавшейся в теоретическом антураже. Вот так и случилось, что я начал работать в Физинституте еще до окончания университета, получая 600 рублей в месяц, в то время как «руководитель» имел вдвое больше. Он обещал мне компенсацию в виде рекомендации в аспирантуру, но когда дело дошло до ученого совета, неожиданно заволновался: а вдруг Вы уедете, не закончив работы? Рекомендация приказала долго жить.

Мне бы извлечь из этого урок, но я ему не внял.

Распределение

На распределение студентов по местам будущей работы я пришел с пустыми руками, без вожденной рекомендации в аспирантуру. Комиссия, перед которой я предстал, огласила мне свое решение:

– Вы направляетесь учительствовать в болгарское село Благоево под Одессой.

Решение было ожидаемым, но обидным. Оно выбивало меня из игры, как минимум, на три года. Я лишь поинтересовался, что же случится с хоздоговором, подписанным университетом на год, если я уеду из Одессы. Ответил прикормленный еврей, партсекретарь факультета, Лейбман:

– Подписываете, подписывайте, Бурштейн, Вам предлагают лучшее из всего возможного!

Пришлось подписать. Мой отец по-прежнему преподавал в университете, и я не желал ему неприятностей. Более того, я обреченно намерен был ехать на эти обязательные три года, а там ... дерзать дальше. Как это делали в то время евреи, настойчивость и талант которых торжествовали над вопиющей несправедливостью. В государстве поголовного равенства дискриминация именно этих товарищей воспринималась как норма жизни, не вызывая у остальных ни удивления, ни тем более протеста.

Но мои «доброжелатели» переборщили. Среди них были и мои сокурсники, с трудом переползавшие экзаменационные барьеры, но выбившиеся в комсомольские вожди факультета. То ли по злему наущению, то ли по собственной инициативе они произвели на свет божий характеристику, подписанную всем треугольником (деканатом, партбюро и комсомолом факультета), которая была обязательна к предъявлению в отдел кадров любого будущего места работы. Эта характеристика отнимала у меня все шансы, даже после отработки в школе Благоева. В ней утверждалось, что я антиобщественный тип, отлынивавший от обязательных общественных нагрузок во время учебы в университете.

Вот этого-то никогда не следует делать – задевать чувства верующих. А как же моя лекторская группа, процветавшая при обкоме комсомола, уборка кукурузы под хоровое пение оперных арий и увертюры, знаменосные первомайские демонстрации и прочая, и прочая? Совершенно разъяренный, я ворвался в кабинет к исполнявшему в то лето обязанности декана, доценту Гаврилову, и обвинил факультет в клевете:

– Если Вы не исправите характеристику, я подам на вас в суд – заявил я и действительно имел такое намерение.

Святая простота! К счастью, Гаврилов знал меня не понаслышке: он принимал первый экзамен по высшей математике на первом курсе, а я был первым студентом, вызвавшимся отвечать и получившим пятерку. Он не желал громкого скандала и отделался малой кровью: заставил комсомольских вождей исправить характеристику. Но это был переломный момент. Ах, вот как! Вы желаете отрезать мне все пути? Ну, так выкусите: не поеду я по назначению. И не поехал.

Ко времени описываемых событий СССР уже вступил в какие-то международные студенческие организации, и не выехавшие по назначению не подлежали больше судебному преследованию. Но всем было известно, что отделы кадров (филиалы КГБ) в институтах, предприятиях и прочих учреждениях получили указание не принимать таких отщепенцев на работу. Не использованное по назначению распределение превращалось в волчий билет. Но ведь я уже работал в Физинституте, пусть по договору, вне штата, но всё же это была какая-то никакая, но альтернатива на год. Во мне по-прежнему теплилась надежда пробить лбом стену.

Ва-банк

Было, однако, совершенно ясно, что для этого рано или поздно придется эмигрировать из Украины в Россию, точнее в Сибирь, где как раз о ту пору началось создание нового, Сибирского Отделения АН СССР. Предвидя эту внутреннюю эмиграцию, я сразу же после защиты дипломного проекта нанес еще один (последний) визит в Институт полупроводников, чтобы ознакомить с дипломом заинтересованных лиц. А надобно сказать, что мой диплом в процессе работы над ним изрядно разбух, и, превратясь в небольшую монографию, имел-таки успех в институте. Иоффе считал, что он заслуживает публикации, и снабдил меня своей письменной рекомендацией. Он также спросил, нет ли у меня намерения продолжить свои исследования полупроводников в Ленинграде. Но у меня были другие планы, связанные с Сибирью.

– А знаете ли Вы Юрия (Юлия) Борисовича Румера, поинтересовался академик. Ах, да откуда вам знать? Он ведь сидел 20 лет. А был первым учеником Ландау. Ну да сейчас он реабилитирован и командует институтом в Новосибирске. Я дам Вам к нему письмо.

На самом деле Сибирь была в это время гораздо ближе. Институты формировались в Москве: там находились их отделы кадров и директора только что произведенные в член-корреспонденты АН СССР. В Москву, в Москву!

Заехав в Москву на несколько дней, я встретился там с директором Института ядерной физики Андреем Михайловичем (Гершем Ицковичем) Будкером и попросился к нему на работу. Дверь передо мной распахнули, но с условием, что я сдам экзамен по квантовой механике доверенному теоретику – Виктору Михайловичу Галицкому. Мне надлежало вернуться в Одессу и готовиться к нему. Что я и делал до конца 1957 г. параллельно с работой по договору. Грыз науку и давился ею, потому что напарывался на вопросы, на которые никто в Одессе не мог ответить. Я спросил профессора, читавшего этот предмет, не высмеют ли меня в Москве, если я задам их там?

– Вполне возможно, – чистосердечно признался он. Однако другого выхода не было: так или иначе, но мне предстоял далекий и долгий марафон. В Сибирь.

А для дальней дороги нужны были деньги. Поэтому я убедил Рубинчика пересмотреть договор в сторону увеличения мне зарплаты. Это было сделано, но возникла непредвиденная трудность. Как специалист без степени я не имел права получать больше. Тем не менее, деньги в институт пришли и, чтобы их освоить, профессор Костарев предложил мне, как он выразился, «джентльменское соглашение»: он станет получать больше и выплачивать мне разницу. У этой последней было целевое назначение, и поэтому я не заикался о ней до поры. Однако к концу года у одесского ректора лопнуло терпение, и он пообещал наложить взыскание на Физинститут, если ему ещё хоть раз принесут на подпись работу Бурштейна (сиречь ежемесячный отчет по договору). Мозолил ему глаза этот строптивый еврей, дерзнувший на флажки. Но у меня уже прорезывались зубы.

Становясь евреем, я ощущал это как проказу, которой чурались окружающие. Но я знал, что это не болезнь, а всего лишь маркировка, звезда Давида в метрике и паспорте. Она мобилизовала к сопротивлению. Говорили, что если бы так же дискриминировали рыжих, то они тоже составили бы некую псевдо национальную общность и оказали бы сопротивление. Такова была природа благоприобретенной пассионарности. Ну что ж, я Вам здесь не угоден? Тогда вперед, в Сибирь. Ва-банк. И я приобрел железнодорожный билет Одесса-Иркутск, со всеми промежуточными остановками: Москва, Свердловск, Новосибирск.

Но оставалось сделать в Одессе последнее дело: получить деньги у джентльмена. К моему изумлению последний вручил мне жалкую сумму, в десять раз меньшую причитавшейся. Я так был огорошен, что вначале не нашелся, что сказать, и вернулся домой в прострации. Профессор Костарев был высокий, худощавый и импозантный товарищ, женатый на молодой женщине. В голове не укладывалось. Может быть, он ошибся? Я должен был глянуть правде в глаза и, взяв себя за волосы, потащился обратно. Пожевав губами, профессор пробубнил:

– Я так Вас понял, когда мы договаривались.

С тем я и уехал, не солоно хлебавши.

Москва

Гражданам без командировок и путевок задерживаться в Москве по тем временам разрешалось всего на 3 дня. Но этого хватило на судьбоносную встречу с В.М. Галицким, вечером на его квартире. Я объявил ему с порога, что к сдаче экзамена не готов, хоть и готовился несколько месяцев. Но у меня накопилось несколько вопросов, на которые я жажду получить ответы. Он не возражал, и я начал их задавать. Некоторые вопросы оказались действительно ученическими, тогда как другие ставили научные проблемы, которые мне удалось решить лишь 10 лет спустя. В докторской диссертации, которой оппонировал – кто бы Вы думали? – член-корреспондент АН СССР В. М. Галицкий. Но тогда, в январе 1958 г. он, доктор наук, битых два часа отвечал на мои вопросы, а затем объявил вдруг: теперь моя очередь спрашивать. Отступать было некуда, пришлось отвечать.

Впрочем, этот допрос был куда короче. Галицкий позвонил Будкеру и коротко сказал:

– Андрей, надо брать.

Окрыленный, я поехал в институт Курчатова, кадровики которого формировали состав новоучрежденного Института ядерной физики. Я сдал им документы, которые подлежали проверке на предмет получения мною допуска к секретным материалам, обязательного для сотрудников ИЯФа. Сдал – и поехал дальше – в Сибирь.

Увы, ни Вонсовский в Свердловске, ни Румер в Новосибирске ничем не могли быть мне полезны. Бывший зек и будущий мой приятель, Юлий Борисович Румер, прочитав письмо Иоффе, откровенно сознался мне, что он стеснен в своих возможностях гораздо больше, чем Будкер, ставший член-корреспондентом. А еврей, он и в Сибири еврей.

Вот так, не солоно хлебавши, возвратился я в Москву после приятного недельного времяпрепровождения в Иркутске. Возвратился к единственному человеку, заинтересованному если не во мне, то, по крайней мере, в завершении хоздоговора, заказанного ОГУ. Услышав про мои перипетии, Иосиф Матвеевич Рубинчик искренне возмутился:

Грабить неимущего студента?! Ну и доктора пошли! – И как-то устроил так, что я получил еще одну или две месячные зарплаты из Одессы, работая в его институте в Москве. В моем подчинении оказался штат из четырех милых женщин, производивших длинные расчеты на механических калькуляторах.

Наилучшим образом решился и вопрос моего проживания. Вместо гостиницы меня определили жить в ожидавшем ремонта железнодорожном вагоне, стоявшем на путях на станции Москва-3. Мне открыл дверь проводник, отнесший мой немудреный багаж в собственное купе, после чего я сразу же откланялся, отправившись бродить по Москве. Поздно вечером я постучался в ту же дверь, и был препровожден в полной темноте в соседнее «купе». – Я решил, что Вам будет удобнее здесь жить – объявил проводник и включил свет. Я стоял в просторной спальне, усталой коврами, посреди которой красовалась убранная двуспальная кровать, обставленная торшерами. – Не желаете ли взглянуть на кабинет? – спросил проводник, окрыленный произведенным эффектом. Кабинет представлял собой еще большую комнату с круглым столом для совещаний и редким по тем временам роскошеством – телевизором. Вот и весь вагон, предназначавшийся генералам, ездившим с инспекционными визитами в провинцию. Редкая удача. Обидно лишь, что эта роскошь представилась мне в Москве, а не в Одессе, где в последний год я испытывал острый дефицит в собственном бунгало.

Однако и сам Рубинчик был не промах. Бывший зам. наркома путей сообщения, он счастливо избежал судьбы Ягоды, вовремя зарывшись в ЦНИИ транспорта, где принял командование над одной из лабораторий. Подчиненные мне дамы не только считали, но и рисунки чертили и печатали сопроводительный текст ко всему этому. Материала набралось на второй диплом, как вдруг я обнаруживаю, что в перепечатку пошел и первый, мой родной. Тут я встревожился: этот последний предназначался исключительно для моей будущей книги, а, если понадобится, то и для диссертации. Я уведомил об этом Рубинчика, и тут же разразился громкий скандал. Громкий в прямом смысле слова: он так орал на «мальчишку» в своем кабинете, что трепетали мои растерявшиеся помощницы в соседней комнате. Но у «мальчика» уже прорезались зубы. Я, молча, наблюдал это представление, фиксируя, что актер во гневе внимательно отслеживает впечатление, которое он производит. Убедившись, что не достигает цели, Рубинчик вдруг на полуслове оборвал тираду и, придвинувши чистый лист бумаги, спокойно предложил: давай составим договор. И сам его составил: авторское право на все сделанное по договору и после принадлежит Рубинчику, а дипломная работа Бурштейна – только ее автору. Этот договор со вполне благообразным подобием дьявола я подписал с легким сердцем.

Время шло, работа над отоплением и охлаждением вагонов тоже, а из Курчатовского института ни слуху, ни духу. Через два месяца терпение мое иссякло, и я сам позвонил в кадровый отдел по оставленному мне телефону. Ну что, мол, слышно с моими документами, посланными вами на получение допуска? На другом конце провода диву дались и с обескураживающей откровенностью ответили:

Да что Вы, мы и не собирались их никуда посылать.

Это был нокаут. Деньги на исходе, перспектив никаких, и несмываемое клеймо в пятой графе паспорта. Нужно ли еще что-либо, чтобы в полной мере ощутить себя евреем, изгоем в собственной стране? Но ощутить не значит смириться, тем более впасть в уныние. Звоню Будкеру и преподношу ему этот сюрприз. Увы, его

вмешательство ничем делу не помогло: вымуштрованные кадровики Курчатовского института ему служили, но не подчинялись. Смущенный неудачей, Андрей Михайлович предпринял несколько попыток устроить меня в другом месте, переговорил с академиком Боголюбовым, но с тем же успехом. В конце концов, он позвонил мне и подытожил:

– Извините, Анатолий, я не все могу вам рассказать, но Ваше положение худшее из всех возможных. Поезжайте (куда?), устраивайтесь сами, а там мне позвоните.

Ага, куда прикажете ехать, если меня обложили со всех сторон? Нашелся, однако, сразу:

– Хорошо, Андрей Михайлович, я попытаюсь пройти в другие институты Сибирского отделения, но не всякий же раз мне сызнова сдавать экзамен. Вы позволите отсылать к Вам за рекомендацией?

– О, это, пожалуйста, всегда к вашим услугам.

И слово сдержал. По его протекции мои документы приняли к рассмотрению сразу три сибирских института: Теплофизики, Неорганической химии и Химической кинетики и горения. Два последних относились к Химическому отделению, а я считал себя физиком. Однако шансы на успех в моем положении были настолько прозрачны, что ничем пренебрегать не стоило.

Финансы позволяли мне протянуть еще месяц, а там надлежало сделать выбор: или ехать обратно в Одессу, в никуда, или завербоваться на целину, которую как раз в это время осваивали в Казахстане. Возвращаться на щите было для меня невыносимо, и я всерьез помышлял о целине: там-то распределение не потребуется. В голове созрел план: быстренько скопить несколько статей из соответствующих глав диплома и направить их в печать. А когда они будут опубликованы, станет возможным защитить по ним кандидатскую диссертацию – и прощай, целина! Воспользовавшись отсутствием Рубинчика, командированного куда-то на целую неделю, я мобилизовал всю подчиненную мне женскую рать на осуществление этого плана, и к его приезду дело было сделано.

Здесь уместно заметить, что только благодаря такому повороту событий я действительно защитил свой диплом как кандидатскую диссертацию, в 1961 г. В следующем году он вышел отдельной книжечкой в Физматгизе (которая удостоилась перевода на английский язык в издательстве Кембриджского университета). Упоминаю я об этом отнюдь не для того, чтобы подчеркнуть значимость моей работы. Это была регулярная ничем не выдающаяся работа по технической физике. Я скорее ненавидел ее, чем любил, поскольку она отвлекала от настоящего дела, которому стоило себя посвятить. Оказалось, однако, что это как раз тот случай, когда не счастье, а несчастье помогло. Выход статей и книги позволил мне довольно рано опериться: стать кандидатом наук в 26 лет.

ВВ

Впрочем, и целины, и бесславного возвращения в Одессу мне все-таки удалось избежать. Я оказался желанным во всех трех институтах, и некоторое время чувствовал себя буридановым ослом, не решавшимся сделать выбор. В Теплофизику меня брали как уже состоявшегося ученого, ожидая, что я продолжу там свои исследования по термоэлектричеству. В Институте неорганической химии вообще удовлетворились одними лишь документами и рекомендациями.

В одном лишь Институте химической кинетики и горения мой будущий шеф, новоизбранный член-корреспондент АН Владислав Владиславович Воеводский (в просторечье «ВВ») обусловил мое поступление докладом, который мне надлежало сделать на его семинаре, но не по своей тематике, а по его собственной. А занимался он внедрением в химию нового радиофизического метода – электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), – за что и получил впоследствии (посмертно) государственную премию. Я ровным счетом ничего не знал об этом явлении, недавно (в 1944 г.) открытом в Казани академиком Завойским, но не описанным еще в отечественной монографической литературе.

Однако выход из положения нашелся. Я отправился в Ленинскую библиотеку и проштудировал там недавно защищенную докторскую диссертацию С.А. Альтшулера, ближайшего сподвижника Е.К. Завойского и к тому же физика-теоретика. (Впоследствии, единственный отзыв на автореферат моей докторской диссертации будет от него же и по его собственной инициативе.) Как всегда бывает при первом чтении, я все понял и был

готов предстать перед семинаром ВВ. К этому времени выбор в пользу его института был уже сделан. Мне понравилась не только сама наука, но и та придирчивость, с которой отбирались кадры для занятия ею. Она свидетельствовала о высоком уровне требований, предъявляемых самой наукой, равно как и об ответственности тех, кто ее развивал. Мой доклад на семинаре был ими оценен, и я получил добро на подачу документов.

На сей раз речь шла об отделе кадров Президиума АН СССР, ведавшего формированием еще не оперившихся химических институтов. Все решилось довольно быстро. Еще 1 Мая 1958 г я влился в колонны демонстрантов на Красной площади как представитель безработных Советского Союза, а уже через пару дней торжествовал победу: я был зачислен в штат ИХКиГ, первым после директора и ученого секретаря института. Дело стало за общежитием, которое могло быть предоставлено мне только через месяц.

– Ну ладно, – сказал ВВ – ты достаточно уже намытарился. Езжай-ка пока в Одессу, отдохни дома этот месяц.

Так я оказался в мае в родном городе, среди цветущих и благоухающих акаций. Я вернулся не только с победой, но и с прочищенными ушами. Местный колорит и юмор, словно впервые были мною услышаны. То, что я всегда считал вульгарным, живя в Одессе, вдруг открылось мне с иной стороны, восхитило и пленило. В трамвайной давке молодая женщина взывает:

– «Что же вы на меня давите? Вы же из меня сделаете две!»

На толчке (вещевом рынке) торговка бельем, расположившаяся прямо на земле у дороги, кричит проходящей мимо женщине необъятных габаритов:

– «Мадам, мадам! Трико на Вас!»

– «Шо же Вы думаете, на мне нет трико, да?» – отвечает та, величаво проплывая мимо.

Но самый блатной разговор состоялся у меня с моим бывшим «научным руководителем» профессором Костаревым. Хоздоговор так и оставался незавершенным, потому что все, сделанное в Москве, там и оставалось, а изрядная сумма денег за эту работу не могла быть выплачена без представления соответствующей отчетности. Несколько дней я мобилизовывал себя на неизбежное объяснение, считая, что в целях самовоспитания я обязан взглянуть в глаза нечистоплотному человеку и узнать, что же он, в конце концов, такое.

Мы встретились в университетском скверике, и я без обиняков объявил ему:

– Хотите, чтобы я представил отчеты? Деньги вперед.

Пожевав губами, профессор вымолвил:

– А если я Вам заплачу, а Вы не предоставите отчетные материалы?

Этого было предостаточно. Я усвоил урок: люди склонны подозревать других как раз в том, к чему сами склонны. Включая подлость.

Месяц в семье пролетел как день один, и снова я в Москве. Общежитие для первых мигрантов уготовано в поселке Николо-Архангельском по горьковской ветке Курской дороги. Для получения его необходимо предоставить справку с места работы. Иду первым делом получать майскую свою зарплату, а затем в Президиум АН за справкой. К моему удивлению вместо благожелательной вальсяжной дамы, которой я сдавал свои документы на поступление в институт, сидит за ее столом какой-то хмырь, окруженный со всех сторон молодыми соискателями своей судьбы. Приближаюсь неловко и через головы оных обращаюсь к нему:

Мне бы справочку с места работы...

Хмырь поднимает на меня изумленные глаза и провозглашает:

– Какую еще справочку? Мы таких не берем.

Я его отлично понимаю, но карман греет зарплата и на этот раз фортуна на моей стороне. Прикидываюсь дурачком:

– Каких это таких?

– Ну ... у которых нет к нам направления.

У меня, конечно, на лбу не написано, куда я распределен, но у него нет на этот счет никаких сомнений. Продолжаю паясничать:

– А у меня есть направление.

– От кого?

– От академика Иоффе.

Я не лгу: такое письмо действительно есть в моем личном деле, но это, увы, не распределение. Хмырь как ужаленный вскакивает со своего стула и бросается к сейфу с документами. Листает, листает, листает, пока не добирается, наконец, до нужного дела. Долго пялится, недоумевает и, закрыв, кладет на место.

– Выдайте справку, – цедит он сквозь зубы кому-то из клерков.

Так завершилась моя одиссея.

Вернувшись к ВВ со справкой в руках, я рассказал ему о происшедшем. Он долго смеялся:

– Ну что ж, будем знать: с тобой получилось, а с другим может не выйти. Видать, твой хмырь был не вовремя в отпуске, а заместитель не была должным образом проинструктирована.

Здесь будет уместно упомянуть, что наш ВВ сам был евреем по матери и сыном врага народа по отцу. Он не отрекся от него, хотя это стоило ему дорого. Не потому ли он так рано и ушел от нас – в свои пятьдесят лет.

Рассказ о моем водворении в Сибирское отделение АН будет неполон, если умолчать о неудавшейся попытке выдворения меня оттуда, случившейся чуть позже. Поначалу мне приходилось обходиться без пропуска в центральный корпус института Химической физики, где обретался новорожденный ИХКиГ, пока в Сибири шло строительство его собственного здания. В этот корпус меня пропускали только на открытые научные семинары, а работать приходилось в лаборатории Л.А. Блюменфельда (ближайшего сподвижника ВВ), размещавшейся в заброшенной церквушке в центре Москвы, куда доступ был открыт для всех. Все это происходило в ожидании допуска (к секретным материалам), который открыл бы мне доступ в рай, сиречь в Химическую физику.

В конце концов, свершилось. Выдавая мне вожделенный пропуск, ВВ сказал:

– Это ты благодари Павла Мартыновича. Он сделал для тебя такое, что мне не по силам было.

Я и был благодарен, сам, не зная за что, этому пожилому великану, П.М. Пурмалю, бывшему латышскому стрелку, ставшему старшим офицером в войну и командовавшему восстановлением Одесского порта после нее. Дослужившись до зам. министра в «освобожденной» Латвии, Павел Мартынович рухнул с этой высоты за какую-то провинность, но не разбился, зацепившись за наш институт, в котором возглавил административный отдел.

Я навестил его, уже пенсионера, много лет спустя на его московской квартире и услышал невероятную историю о провалившейся попытке моего увольнения. Оказывается, эта миссия была поручена ему

директором ИХКиГ член-корреспондентом Ковальским, который, уезжая в какую-то командировку, оставил Пурмалю и. о. директора, поручив ему справиться с этим делом до своего возвращения.

– За что же его увольнять? – поинтересовался Пурмаль.

– Ему не дают допуска, – последовал ответ.

Видать, мой хмырь расстарался таки, чтобы достать меня по своим каналам, и исправить допущенную оплошность, не мытьем, так катаньем. Но не на того напал: Пурмаль не привык делать безропотно «чего изволите». Подняв мое дело, он искренне изумился: отец и мать – партийцы со стажем, сам – комсомолец, характеристика без изъянов.

– Ах, так его уволить надобно исключительно за то, что он еврей? Да я таких в 1919 году ... к стенке ставил! И, пользуясь старыми чекистскими связями, он добыл мне допуск в несколько дней, причем более сильный, чем требовалось. Так называемую вторую форму вместо обычной третьей, которой я ни разу не воспользовался, а потом и вовсе отменил, чтобы не создавать лишних проблем при выезде за границу. Но главное, что к моменту возвращения Ковальского вопрос о моем увольнении отпал сам собой.

Собирая сейчас эти воспоминания, разбросанные по закоулкам памяти, диву даешься прихотливой игре случая. Сколько же понадобилось счастливых совпадений, чтобы выиграть эту партию с невидимым и всемогущим противником!

Таких счастливиц еще поискать. Куда как больше других, одаренных и дерзающих, но менее удачливых, которым пришлось зарыть в землю свои таланты, отразившись от этой глухой стены неприятия. И почему именно евреи?

Единственная нация из всех народов, составлявших СССР, которая в большинстве своем, с легким сердцем отказавшись от древней религии, истории и национальных традиций, только и мечтала слиться в экстазе с титульными нациями. Ради образования «единой новой общности», которой должен был стать советский народ, исповедующий коммунизм. Как всякая односторонняя любовь, она была отвергнута. Неужели лишь для того, чтобы получили некое извращенное удовольствие патологические антисемиты?

Не спешите торжествовать, господа. К началу 1930 годов физика говорила преимущественно на немецком языке. Берлин и Геттинген были Меккой и Мединой новорожденной квантовой механики и теории относительности. Но Гитлер преуспел в изгнании Эйнштейна и Бора, Борна и Теллера, отторгнул тысячи других, не арийцев. Вскоре же английский восторжествовал над немецким, а первая атомная бомба оказалась в руках США – противника Германии. Хуже того, до основания разрушенные научные школы оказалось невозможным восстановить и за послевоенные полстолетия. Столица научной жизни переместилась за океан, оставив немецкой физике лишь ее славное прошлое. Эта же судьба ждет и российскую науку, унаследовавшую от советской власти ее единственно бесспорное достижение. Такова цена утечки мозгов, в том числе и еврейских.

Как это было дальше

В начале шестидесятых об этой пресловутой утечке мозгов и речи быть не могло. Железный занавес был закрыт наглухо, и наша наука внутри него была автономна и самодостаточна. Получить компетентный ответ на любой грамотный вопрос можно было внутри страны. Корифеев, широко известных по их монографиям и публикациям, было предостаточно. И внутри Академии, и вне нее. Это необходимо иметь в виду, учитывая, что у меня никогда не было научного руководителя. Что бы я ни сделал, нуждалось в апробации вне стен института, если речь шла не о его непосредственной тематике. Последней я уделял, конечно, основное внимание, но параллельно старался найти ответ на вопросы, волновавшие меня еще со студенческой скамьи. К счастью, обе темы вплотную соприкасались, что, в сущности, и определило мой выбор института в пользу ИХКиГ.

Проблема, которая не была решена в беседе с Галицким, касалась очень фундаментального вопроса квантовой механики, а точнее «квантовой кинетики», как была названа впоследствии моя двухтомная монография, охватывавшая эту и смежные проблемы. Дело в том, что я грешил на «золотое правило» теории возмущений П. А. М. Дирака, определявшее скорость и кинетику переходов, индуцированных светом, в атомах

и молекулах. По существу, эта важнейшая задача попала во все учебники по квантовой механике по недоразумению, так как корни ее уходили глубоко в статистическую физику, а еще точнее, в теорию случайных процессов, каковым является, в частности, свет от обычных источников. Только два автора из очень многих (Л. Шифф и Я.И. Френкель) удостоили вниманием это обстоятельство, упомянув о том, что «золотое правило» квантовой механики пригодно только для слабого света широкого спектрального состава. Френкель даже выразил надежду, что природа любезно предоставляет в наше распоряжение только такой свет, чтобы не усложнять нам жизнь. К сожалению, я не разделял этого оптимизма и очень хотел выяснить, что будет, если свет вдруг окажется слишком сильным или, не дай Бог, почти монохроматическим. Вопрос был своевременным: до создания источников именно такого, квазимонохроматического света (лазеров) оставалось всего несколько лет.

Найдя частичный ответ на него путем ревизии теории Дирака, я нуждался в очень серьезной апробации, так как замахивался на святое. Воспользовавшись протекцией Льва Александровича Блюменфельда, я попросил аудиенции у академика И.Е. Тамма, нобелевского лауреата, и был приглашен к нему на дом. Едва услышав от меня, что я не удовлетворен теорией Дирака, Тамм заметался по комнате, последовательно излагая мне азы теории возмущений. Я сидел ошеломленный, недоумевая, почему он снисходит до этого, вместо того, чтобы указать на дверь посетителю, которого считал столь несведущим. Дождавшись паузы, я осторожно поинтересовался, что случится, если я вдруг начну сужать спектр или усиливать излучение. Тамм снова бойко и темпераментно заговорил, но вдруг прервал себя на полуслове, обратившись ко мне с вопросом:

– Уж не хотите ли Вы сказать, что Вам известно, что будет?

– В какой-то степени да.

– В таком случае рассказывайте, – предложил академик, опустившись в кресло и придвинув мне соседнее. Я начал, отправляясь от неявных ограничений метода по силе и ширине света и ссылаясь на примеры из новорожденной радиоспектроскопии (ЭПР), где только монохроматические волны и используются.

Дослушав до конца, Тамм предложил:

– А приходите-ка Вы с этим докладом ко мне на семинар, в ФИАН, там все и обсудим.

Так состоялось мое первое выступление на теоретическом семинаре, и не где-нибудь, а в Физическом Институте АН имени Вавилова. Ничего, не съели. Более того, присутствовавший на нем академик Виталий Лазаревич Гинзбург (тоже нобелевский лауреат с 2003 г.) тут же предложил мне повторить доклад на его собственном семинаре в том же ФИАНе. Последний был общемосковским семинаром, собиравшим невероятно широкую аудиторию. Нигде больше я не видывал таких сборищ теоретиков (до 1000 человек), заполнявших весь актовзый зал ФИАНА. Когда я начал, единственная болевшая за меня в этом зале бывшая сокурсница по Одесскому университету услышала, как некто сказал соседу громким шепотом: «Ну сейчас он начнет шпарить по 41 параграфу Ландау и Лифшица».

Но его худшие опасения не сбылись. После семинара академик В.Л. Гинзбург так подвел его итог:

– Не берусь судить, что из доложенного оригинально, а что уже было когда-то осознанно. Но если что-то и было сделано, то так давно, что уже совершенно забылось. Напишите-ка Вы об этом обзор для Успехов Физических Наук (УФН). Как редактор этого журнала он имел право выбора, и через несколько дней я действительно получил официальное приглашение из УФН написать обзор в обозримые сроки.

Увы, ни тогда, ни позже этого сделано не было. Переоценил меня Виталий Лазаревич. Слишком молод я был для этой миссии и трезво оценивал свое знание (точнее незнание) всей необходимой литературы. Вместо обзора я написал статью, процедив в нее то, что действительно было оригинально. Эту статью я вознамерился опубликовать в Журнале Экспериментальной и Теоретической Физики (ЖЭТФ), наилучшем из всех в СССР. Не тут-то было. Анонимные рецензенты журнала (как правило, его же авторы) пеняли мне то на одно, то на другое, благо тема была всем известна, в отличие от никому неведомого автора. Я отбивался, как мог, но один рецензент сменял другого, и новые возражения приходили на смену опровергнутым. Так продолжалось много раз, статью и не отвергали, и не принимали. Наконец, я осознал, что сражаюсь с ветряными мельницами, пробиваясь в замкнутый круг именитых авторов журнала. Статья была послана в

другой журнал, а именно в «Физику твердого тела», где я уже успел опубликовать несколько своих термоэлектрических опусов, приобретая кое-какой статус. Там она и была напечатана без лишних проволочек, но мой интерес к теме сильно угас.

Не к самой проблеме, конечно, а к приближенным методам ее решения, легко уязвимым для критики. Рецензенты ЖЭТФ желали видеть точное решение, хотя и не могли посоветовать, как его добыть. Раззадорившись и обозлившись, я сам нашел выход из положения, придумав такую модель световой волны, которая допускала точное решение при любой ее мощности и спектральном составе. В успехе этой работы я не сомневался, но и рисковать больше не собирался. Я не понес ее в ЖЭТФ, а прямо с уличного автомата позвонил одному из редакторов, академику М.А. Леонтовичу и попросил об аудиенции. Мне и в этот раз отказа не было, хотя я не только не знал, но и никогда не видел академика, знаменитого не только своими трудами, но и безупречной репутацией чистого и бескомпромиссного человека. Дверь его дома открыл длинный худой человек в выдавшей виды одежке, которого я можно было принять за «дворецкого», но это был сам Леонтович, собственной персоной. Мы прошли в кабинет, и я начал рассказывать ему содержание двух своих рукописей, подготовленных к публикации. Кроме упомянутой выше, была со мной еще одна заметка, зародыш будущей теории спектральных коллапсов, изложенной мною впоследствии в книгах, опубликованных сибирской «Наукой» и издательством Кембриджского университета. Но это все в будущем, а во время визита я был просто молодым кандидатом наук из периферийного института, рвущимся в престижный журнал. И дорвался:

– Знаете, сразу две работы на разные темы в ЖЭТФ уж точно не возьмут, – рассудил Леонтович, – Давайте поступим иначе: вот эту короткую я представлю для публикации в ДАНе. (Доклады Академии Наук публиковали без рецензирования статьи, рекомендованные академиками, которые таким образом разделяли ответственность со своими протеже). Что же до другой, то я передам ее в редакцию ЖЭТФ и думаю, что на этот раз все будет в порядке. Так оно и случилось. За этой первой статьей последовала вторая, третья, уже в обычном порядке; я стал постоянным автором ЖЭТФ. Через 5 лет вышла (в Новосибирске и Красноярске) «Квантовая кинетика», второй том которой был собственно моей докторской диссертацией.

Назначаемый ВАКом после защиты «черный» (анонимный) рецензент открылся мне и попросил подготовить черновой вариант отзыва. Это было столь же лестно, как и необычно. Рецензент (Владимир Иделевич Перель) был очень известным ленинградским физиком, с которым мы едва были знакомы.

– Я был рецензентом Вашей самой первой статьи в ЖЭТФ, – сказал он мне при встрече и добавил: тот, кто нашел и решил такую задачу, имеет достаточно оснований быть доктором наук, и мне незачем читать все остальное в Вашей диссертации, чтобы лишний раз убедиться в этом. Это был заключительный аккорд в моем восхождении к вершинам профессионализма.

И весьма своевременный, надо сказать, поскольку за год до этого я умудрился стать персоной нон-грата для новосибирских партийных бонз, которые в местной печати публично рекомендовали мне подучиться сначала марксизму-ленинизму, а уж потом лезть в доктора. Поэтому жест Переля был не только признанием, но и актом гражданского мужества. За полгода до этого один из моих официальных оппонентов перед самой защитой дал-таки труса. На счастье, сменить его без колебаний согласился академик Р.З. Сагдеев, так что удалось обойтись без дополнительной дозы марксизма-ленинизма. А весь сыр-бор разгорелся из-за «Интеграла».

Кое-что об «Интеграле»

Оказавшись в 1958 году на постое в подмосковном поселке Никольском-Архангельском, в снимаемом Академией частном доме, окруженном цветущим садом и тишиной, я даже был немного разочарован. Одной лишь новоизбранной науки, в которую я был отныне всецело погружен, было, увы, недостаточно для ощущения тугого ритма жизни, ставшего для меня привычным. Ничто не изменилось в этом отношении и с переездом нашего института из Москвы в Новосибирск в январе 1961 г. Даже напротив, территориально изолированный от города Академгородок, окруженный девственным лесом, был подлинной глушью: ни тебе московских театров, музеев, да и просто кафе, где можно было бы скоротать время, свободное от науки, с кем-то встретиться, с кем-то познакомиться. Последнее обстоятельство особенно удручало молодежь, составлявшую большинство населения.

Именно она и инициировала совещание, посвященное проблеме свободного времени в Академгородке. Приглашен был и я. Оставшись равнодушным ко многим обсуждавшимся проектам заполнения этого времени,

я взял слово и сказал: а не лучше ли просто обзавестись хотя бы одним молодежным кафе, наподобие тех, которые появились в это время в Москве. Последние легитимизировали джаз, долгое время находившийся под запретом, и тем самым снискали себе широкую популярность в молодежных кругах. Что бы нам самим не попробовать? «Вот Вы предложили, Вы и пробуйте», – сказали мне. А почему бы и нет? У меня ко всему прочему были и собственные мотивы заняться этим. Мой первый брак не сложился, и мне нужна была точка опоры вне семьи, чтобы отдалиться и разомкнуть порочный круг. Что-то подобное или же просто одиночество подтолкнуло некоторых из присутствовавших сплотиться вокруг меня и начать действовать. Впрочем, очень скоро из них осталось лишь несколько молодых женщин, преданно выполнявших все, что требовалось.

А требовалось многое: и челобитные, и справки, и связи. Однако на первых порах все шло гладко: Президиум Сибирского Отделения во главе с «дедом» (академиком Лаврентьевым) вошел в положение и выделил нам деньги на реконструкцию одной из столовых в молодежное кафе-клуб и приобретение дорогостоящей музыкальной аппаратуры. Последнее оказалось простейшим делом, и мы начали функционировать на временных площадках как филиал дома культуры «Академия». Несколько ранее, проходя вечером мимо одного из домов, я услышал звуки джаза, доносившиеся из одной квартиры. Ткнув дверь, я беспрепятственно вошел внутрь, как это тогда было принято в Академдеревне, и познакомился с самоорганизовавшимся ансамблем Виттиха, которого я уговорил податься под нашу крышу. Там он и играл последующие несколько лет, обеспечивая постоянную популярность субботам и воскресеньям, которые именовались нами «кабачковыми днями». «Кабак» был и пребудет самодостаточным, но в будние дни, целиком отданные общественно значимым программам, мы обходились без музыки.

Труднее оказалось заполучить постоянную площадку, реконструировав для этого столовую. Проект реконструкции был разработан на общественных началах местными профессионалами (художником Соколом и архитектором Ивановым). Но, даже имея проект и деньги на его реализацию, нам ничего не удавалось добиться. Один чиновник отсылал нас к другому, а тот отражал обратно, и так до бесконечности. Наконец, терпение наше иссякло, и мы устроили подлинный бунт на общем комсомольском собрании Академгородка. Выступали один за другим с критикой и жалобами на хозяйственную администрацию и ее главнокомандующего, тихого и интеллигентного, но непробиваемого Лаврова. Про это немедленно прослышал дед и вынес спорный вопрос на очередное заседание Президиума СО АН.

На этот ареопаг приглашены были обе противоборствующие стороны, я и Лавров. Последний, как водится, говорил об объективных трудностях, нехватке рабочей силы и материалов, пока я, наконец, не вспылал и, не стеснясь, прямым текстом обвинил его в умышленном саботаже решения Президиума. На меня тут же зашикали справа и слева: «Что Вы, что Вы? Тут так не говорят и не ведут себя». Однако всплеск пассионарности не остался без последствий: чтобы разобраться по существу дела, Президиум тут же избрал комиссию во главе – с кем бы Вы думали? – с нашим ВВ. На заседании оной все повторилось точь-в-точь, но ВВ не на шутку рассердился. Я редко видел его в таком гневе. Брызгая слюной и стуча кулаком по столу, он кричал Лаврову:

– Ваше дело исполнять решения Президиума, а не обсуждать и затягивать их!

И дело завершилось. Через некоторое время мы уже обустроивались в переоборудованном здании клуба-кафе «Под Интегралом», где в дальнейшем в течение нескольких лет кипела общественная жизнь Академгородка. Здесь в мои намерения не входит рассказывать о ней в подробностях, которые отражены в нескольких мемуарах, включая мой собственный «Реквием по шестидесятым, или под знаком интеграла» (см. журнал ЭКО, 1992, 1-2, стр. 86-105 или сборник «Научное сообщество физиков СССР. 1950-1960 годы», Российская Академия наук. Институт истории естествознания и техники им С.И. Вавилова, 2005, стр. 569-618).

Благодаря своей всесоюзной известности «Интеграл» стал своего рода достопримечательностью Академгородка, а вместе с ним и я – его президент. Иду я как-то на работу мимо Института гидродинамики, около которого стоит группа высокопоставленных гостей городка, а над ней возвышается дед, указующий перстом в мою сторону и восклицающий, ерничая: «Во! во! во! Президент идет!» Но однажды посетила городок представительная делегация влиятельного министерства, с помпой принятая нашей управленческой аристократией. По-видимому, гости пожелали видеть это чудо в перьях, то есть меня. Нежданно-негаданно звонит вдруг мой телефон, и сам Лавров настойчиво приглашает на пикник, устроенный для дорогих гостей на теплоходе, который будет курсировать несколько часов по Обскому водохранилищу. Отказаться от такого приглашения было негоже, и я вкусил от сей трапезы, изобиловавшей вином, икрой и прочими деликатесами. Признаться, даже перебрал немного, как, впрочем, и остальные. И стал свидетелем разговора,

запомнившегося обескураживающей откровенностью. Один из присутствующих бюрократов, тыча в меня пальцем, говорил московским гостям:

– Представляете, они таки построили «Интеграл»! Мы мешали, мы мешали! А они все-таки его построили...

Построили не только помещение, но и вертикаль власти, как теперь принято говорить. На вершине ее стоял президент, которому доверялись все внешние отношения клуба, с прессой, академическими и партийными кругами. Ему подчинялся Совет министров, ведавший всем нашим хозяйством, рекламой и платными сотрудниками: музыкальным ансамблем, «метрдоателями» (распорядившимися баром и радиорубкой), первым отделом (следившим за порядком, билетами и пропусками), и освобожденный работник – директор клуба. Параллельно и независимо функционировал Кабинет министров, в котором на общественных началах творили нашу повседневную жизнь министры литературы, танцев, альпинизма и т. п., всех не упомнишь. Председателя Совета и Премьер-министра привлекал и назначал я, а они уже формировали состав своих органов и так далее, сверху донизу. Во время экстраординарных общегородских событий мы обрастали оргкомитетами до 100-150 человек.

И вот однажды я вздумал узаконить всю эту самопроизвольно сложившуюся структуру и созвал клуб для принятия конституции. Мне оппонировал председатель Совета министров, полагавший, что всех и вся надо избирать снизу доверху как в супердемократической советской системе. Собралась вся президентская рать, включая первый отдел и метрдоателей.

И моя конституция провалилась по всем статьям. Как охочи все оказались поговорить, ратуя за абсолютную демократию, каковой они на самом деле считали знакомую им структуру. Ну и что? Побазарили и разошлись, собою довольные, а все осталось, как было. Как и должно было быть. Тимура ведь тоже не выбирала его команда. Также и я – назвался президентом и полез в драку: в подковёрное противостояние городка и города.

Но не только: груздю еще надлежало устроиться в кузове, каковым был сам Интеграл и его завсегдатаи. Некоторая авторитарность президентской власти была необходимым условием выживания в среде с атрофированным правосознанием и патриархальными устоями самой Академии. Направляюсь я однажды к Интегралу на запланированную встречу с академиком Лаврентьевым, а оттуда вываливается сам дед и широким шагом направляется прочь, мне навстречу.

– В чем дело, Михаил Алексеевич, что произошло?

– А там какое-то другое мероприятие райком проводит, с редакторами настенной институтской печати, – и вдруг резко: Да есть у вас тут хозяин?

– Я хозяин, – безапелляционно заявляю я – и разворачиваю его вспять со всей подобающей вежливостью.

Войдя в «знаменатель» – клубную резиденцию на первом этаже, сразу предлагаю стенным писателям перебраться в «числитель», на второй этаж, где расположено кафе, пустующее по будням. Несмотря на ропот недовольства и возмущенные протесты инструктора райкома, затеявшего весь этот сыр-бор, народ послушно собирает настенные экспонаты и направляется к лестнице. Остаются лишь те, кто пришел встретиться с Председателем Сибирского отделения лицом к лицу, чтобы обсудить наболевшее. Инцидент исчерпан, но даже думать не хочется, что было бы, если бы дед так и ушел, не солоно хлебавши.

А вот еще один случай, грозивший непоправимым ущербом репутации клуба. К трехлетнему юбилею «Интеграла» мы собрали в Академгородке около 20 представителей самодеятельных клубов со всей страны, от Украины до Камчатки. Раздали всем специально изданную антологию нашей деятельности «Пресса об «Интеграле»» и провели инструктажи по разным ее аспектам. Завершилось все торжественным заседанием в зале ДК «Академия», после которого мы с гостями отправились праздновать в клуб, закрытый по этому случаю для посторонних. Оказалось, не герметически. У членов клуба и его охраны нашлись друзья и знакомые, которым позарез нужно было разделить с нами эту радость. Когда мы появились в «числителе», все места за всеми столиками были уже заняты, приглашать гостей было некуда. Каков конфуз! Беру в руки микрофон и укоряю присутствующих, занявших места гостей, предлагая освободить их. Никто не сдвинулся с места, косят

на соседей. И тут я вынужденно, но успешно употребляю власть, хотя никогда не перестану стыдиться этого решения. Дав знак оркестру играть, я, дождавшись момента, когда публика, вспорхнув со своих мест, ринется танцевать, велю «первому отделу», дюжим молодцам из охраны клуба, сдвинуть вместе ближайшие столики, за которыми усаживаются гости и мы. Откуда мне было знать, кто по праву, а кто по благу занимал эти места? Рубить пришлось без разбору, как гордиев узел. Но никакого возмущения, ни тем более протеста не последовало. Такое вот было у нас правосознание. Словчить – да, перечить – нет.

Нормально, когда в сплоченном, активно функционирующем коллективе, будь-то банда школьников или туристов на сложной тропе, возникает нештатная ситуация, требующая неотложного волевого решения от принимающего его. Но иногда ситуация вообще не оставляет ему выбора. Иду я как-то на клубный вечер, но, едва переступив порог, оказываюсь на руках у первого отдела, и в этой нелепой, беспомощной ситуации возношусь их стараниями на второй этаж для предъявления публике, собравшейся пировать в «числителе». Вообще-то эти ребята несли у нас службу за твердую зарплату, и подозреваю, что не только у нас, потому что постоянно маячили в открытых дверях знаменателя, когда там что-то происходило.

За такую необременительную добавку к основному жалованью в советские времена почему бы и не быть искренне признательным клубу и его президенту.

Культ личности не культивируют, он сам произрастает там, где не привита свобода личности и личное достоинства. С этим спонтанным, уродливым всплеском обожания пришлось-таки смириться поневоле. Ну не бить же их по головам, в самом деле! Но я не сдерживался в выражениях, когда очутился, наконец, на твердом полу, и больше ничего такого уже не случилось.

Фестиваль

Нет надобности описывать здесь насыщенные будни «Интеграла», всегда на грани дозволенного или немного за ней: острые дискуссии по политическим, социальным, историческим вопросам и болезненным проблемам науки (моя прерогатива); встречи с бывшими узниками ГУЛАГа и просто интересными современниками; художественные экспозиции, далекие от «социалистического реализма»; конкурсы красоты, как женские, так и мужские, и пр., и пр., и пр. Все это уже неоднократно освещалось в мемуарах. Нельзя, однако, обойти молчанием фестиваль бардов, посредством которого Интеграл покончил с собой в 1968 году.

Клуб прикрыли из-за того, что среди многих прочих бардов в фестивале участвовал А.А. Галич, который первый и единственный раз пел со сцены в собственной стране, записываемый на магнитофоны и киноленты. Он имел тогда колоссальный успех. Залы вставали, отдавая должное автору, выражавшему общую боль. Мы уже почти прозрели, и негодование вскипало в сердце, растревоженном его гитарой. И тогда, и сейчас. У всех, кроме Солженицына, пеняющего Галичу за то, что его сатира «бессознательно или сознательно обрушивалась на русских, ... в подчеркнутом «русопятском» звучании... Ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого русского интеллигента и даже ээка порядочного ни одного». (Двести лет вместе. Часть II. Стр. 452). Трудно поверить, но великомученик Солженицын просто подхватывает призыв Маленкова, озвученный им на XIX съезде КПСС. Призыв, который уже был всенародно осмеян одним из современных ему сатириков: «Мы за смех, но нам нужны подорожее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали».

Уж не ревнует ли Александр Исаевич к Александру Аркадьевичу, не желая делиться диссидентской славой? Думаю, что негодующие, пламенные, рвущие душу песни Галича, тиражированные тысячами записей, угрожали режиму не меньше, чем «Один день Ивана Денисовича». А пленки, записанные на фестивале, были отменного качества и бесконтрольно циркулировали по всей стране. За это-то «Интеграл» и прикрыли, как, впрочем, и все другие клубы в незабвенном 1968.

В довершение всего часть членов «Интеграла» подписала небезызвестные письма протеста против судилища над Галансковым и Гинзбургом, возвысивших свой голос в защиту Синявского и Даниэля. Вопреки моим увещаниям и здравому смыслу. Начались их преследования по службе и публичные бичевания на закрытых партийных собраниях. В нашем институте был лишь один аспирант-подписант. Оглашая в райкоме партии весь список из 46 отщепенцев, первый секретарь дошел и до него, потом оторвал глаза от злосчастного списка и провозгласил: «А Бурштейн не подписал!» Ах, как жаль. Ну да ничего. На закрытых партийных собраниях все, тем не менее, списывалось на сионистов, которые, сами, оставшись в тени, подтолкнули русских простофиль на такое неблагоприятное дело. Главным сионистом был, конечно, я. Хотя не имел о сионизме ни малейшего представления, кроме того, что это слово – эвфемизм «еврея». Ну что ж, я уже давно

воплотился в еврея, во всем невинно виноватого. Ничего нового.

Кроме разве что того, что и Будкер тоже усматривал во мне едва ли не главного виновника происшедшего. Он был очень огорчен тем, что процент подписантов в его институте был выше среднего. «Если бы он был ниже, чем в других институтах, это был бы симптом неблагополучия, но настолько выше – это перебор!» – сокрушался Андрей Михайлович и, тыча в меня пальцем, обвинял: «Вы поднимаете волну и как раз совсем не вовремя. Нет сейчас революционной ситуации. Она была в последние годы жизни Сталина, во время космополитической кампании. Вот тогда и я готов был взяться за оружие, но сейчас-то все путем, страна движется в правильном направлении. А вы ее тормозите, палки в колеса вставляете». Разговор происходил у него дома при молчаливом присутствии Роальда Сагдеева, лаборатория которого побила рекорд по числу подписантов. Я вяло огрызался и обвинительный монолог затянулся далеко за полночь. Вероятно, он меня достал, так как внезапно подошла громадная овчарка Будкера, положила передние лапы мне на колени и принялась сочувственно лизать прямо в лицо. «Милочка, – запричитал Будкер, призывая в союзники жену, – она на его стороне, гляди. Предательница». Выпроваживая нас из дому, Будкер пообещал Сагдееву уважить его просьбу: защитить Володю Захарова (будущего академика, ставшего директором Института теорфизики Ландау). Он действительно преуспел в этом, пожертвовав другими подписантами ИЯФа (Фридманом, Заславским), которым пришлось податься в Красноярск и Иркутск.

Будкер был большим мастером компромиссов, а вот с оружием в руках я себе его решительно не представляю. Со мною солидаризовался в этом отношении В.М. Галицкий, услышав от меня про революционную ситуацию, упущенную в свое время Будкером. «Чушь порет Андрей – нелицеприятно прокомментировал он – какая там ситуация!? Никто ничего не знал и не понимал, и все были горой за Родину, за Сталина».

В 1968 году меня вряд ли прикончили бы истово верующие, но докторскую диссертацию я во избежание неприятностей срочно отвез в Москву и представил там к защите в alma mater, Институте химической физики.

Там, в Москве, тоже были свои подписанты, но еще не так резко пахло реакцией, и происходившее в Новосибирске воспринималось как провинциальная вакханалия. Вдохновленный этим, я ринулся на защиту клуба, едва завершив диссертационные формальности.

Как известно, в семье не без уродов. Был таковой и в ЦК ВЛКСМ: высокопоставленный функционер горбачевского разлива, то есть здравомыслящий человек по фамилии Черепанов. Он симпатизировал молодежному движению и помогал налаживать контакты между клубами с целью сплотить их во Всесоюзную федерацию. И это в то время, когда подобная организация в Чехословакии упразднила тамошний комсомол! Соперничая с ним в наивности, я по его протекции добился аудиенции у первого секретаря ЦК ВЛКСМ, которого с пылом и жаром стал убеждать вступить за «Интеграл» и за его право на ошибку, сделанную с соизволения ЦК, патронировавшего фестивалю. Это был монолог в пустоту. Первый секретарь как истукан, молча, восседал в своем кресле напротив, пялясь на меня в совершенном изумлении, как на инопланетянина. С тем и ушел. Неведомо мне было, что сразу после фестиваля в ЦК состоялось многочасовое прослушивание всех фестивальных записей, затребованных у нас. С соответствующими выводами, надо полагать.

Выйдя из ЦК, несолоно хлебавши, я отправился навестить Анатолия Аграновского, очень популярного и влиятельного корреспондента Известий. Выступление в центральных органах печати воспринималось тогда как глас божий. И я надеялся, что он возвысит свой голос в нашу защиту. Неважно, как и в чем я убеждал его, важно то, каким был ответ. А отвечивал он, что лично знаком и высоко ценит Галича и его творчество, но предавать это гласности не будет: «У меня есть семья и дети, о которых я должен заботиться в первую очередь...». Впоследствии эта забота распространилась и на мемуары Леонида Ильича Брежнева. И все-таки не я брошу в него камень. Никто не обязан быть героем, это всегда добровольный выбор.

И это бы еще ничего. Но я лез на рожон, не замечая, что ситуация в стране меняется к худшему. Надеюсь еще спасти клуб, я позвонил Гале Гусевой, знакомой артистке самодеятельного театра Марка Розовского, дважды гастролировавшего в «Интеграле». Она работала тогда на радио, на канале «Маяк», и уговорила своего знакомого дать в эфир интервью со мной, предварительно согласовав все вопросы и ответы.

Так вот и случилось, что благодаря двум идеалистам (впоследствии поплатившимся за это работой) я дал интервью московскому радио, в котором наставлял наших гонителей, как надобно ладить с молодежью. Поднял-таки волну, способную смыть меня из городка. Тем более что переданное через Будкера конфиденциальное требование обкома добровольно покинуть его я отклонил. Из города протянулась и

нависла надо мной карающая десница обкома КПСС, первый секретарь которого (Горячев) был к тому же членом ЦК КПСС. Как, впрочем, и «дед» (что способствовало его успешному противостоянию обкому). Он-то и отвел от меня эту напасть в самый последний момент. Наш институт, правда, был вынужден отозвать из Москвы характеристику, представленную к защите, и приписать мне «нечеткие идейные позиции», но последствий это не имело. Однако моя самая большая и долгоиграющая тимуровская команда приказала долго жить. Я стал президентом экс-клуба, оставшись неприкасаемым для нашего академического бомонда. Однажды на приеме, данном в ресторане Доме Ученых в честь гидов французской научной выставки (которые и пригласили меня), один мой приятель услышал, как очередной временщик, ученый секретарь Академии, громогласно возмущался, почему это Бурштейна не выведут отсюда.

Переломить ситуацию помог спасательный круг, брошенный мне Лаврентьевыми: я был во всеуслышание приглашен к ним на домашний обед. Этот обед проходил в присутствии детей и внуков, в коттедже, где дед жил со своей женой, Верой Евгеньевной, интеллигентной и властной женщиной, независимой в своих суждениях и пристрастиях. Она благоволила ко мне и была высокого мнения о поэзии Галича.

– Вы не его («деда») благодарите – сказала она мне, когда мы уединились после обеда. – Вы меня благодарите. Он уже готов был Вас сдать, но я убедила его, что это чревато международным скандалом. Даже обедать не дала – отправила на работу, улаживать дело с обкомом по прямому проводу.

Насчет скандала она была не так уж далека от истины. Не было конференции, проходившей в городке, которая бы не устраивала банкет под нашей крышей. В «Интеграле» снимались сюжеты компанией Би-би-си и ирландским телевидением, не говоря уже об отечественных документалистах. Так что резон заступиться за меня был. Удивительнее другое:

– Никак не пойму, – неожиданно добавила Вера Евгеньевна, – почему это некоторые люди так стараются испортить мое мнение о Вас. Ну, в конце концов, с кем не бывает. Да и лечится это сейчас очень эффективно.

Я онемел. Стало быть, ей нашептали, что не диссертацию я ездил сдавать в Москву, а лечиться от стыдной болезни. А что, молодой, разведенный, да к тому же заметный в городке, «президент», живущий в отдельной квартире и вниманием женщин не обделенный, мог ведь и подцепить что-нибудь. Поди, докажи обратное. Таковы были их методы. Куда там до этих коммунистических шептунов моим деловым и научным подельникам, обижавшим меня прежде. Видать, и в самом деле нет ничего грязнее политики. Но какова Вера Евгеньевна, какой масштаб личности! Взять да и пригласить к обеду человека, на которого легла такая тень. Всем наперекор.

Безвременье

В то же лето советские танки расправились с пражской весной, похоронив наши надежды на социализм с «человеческим лицом». Поразительно, но мое отрезвление пришло только после этого. Ни государственный антисемитизм, ни повсеместный разгром клубного движения не преуспели в том, что одним махом сокрушила эта военная акция. Исчезла иллюзия о совместимости свободомыслия и коммунистической доктрины. Пришло время переоценить идеологические установки, которые в свое время привели меня в комсомол.

Я напрочь завязал со всякой общественной деятельностью, прекратил даже выписывать газеты и погрузился в чтение классиков утопического коммунизма. Последний официально признавался первоосновой коммунистического учения, которое в остальном лишь уточняло пути и методы достижения этого идеала. Я и рассмотрел его со всей тщательностью, обратясь к первоисточникам: Томасу Морю, Кампанелле и прочим утопистам. К полному своему изумлению я узрел в их идеально устроенном обществе наше собственное советское бытие со всей его прискорбной атрибутикой: авторитаризмом, концлагерьями, презрением к черному крестьянскому труду и вечными нашими проблемами – бездарным управлением и неэффективной экономикой. Когда впоследствии, во времена перестройки, на одном представительном собрании в присутствии членов Римского клуба горячо обсуждалось, туда ли мы идем и не сбились ли с дороги на пути к коммунизму, я успокоил собравшихся: мы не идем, а давно пришли, лучшего не дано. И даже опубликовал об этом несвоевременное эссе «Коммунизм – наше светлое прошлое» (ЭКО, 7 (1991) стр. 71-81).

Пока я изучал первоосновы коммунизма, самоотлученный от газет и преисполненный худших ожиданий, последние не замедлили осуществиться. В виде разнузданной антисемитской кампании, последовавшей за шестидневной войной. Пожалуй, я мог бы ее и не заметить, если бы не Новосибирский университет, в котором я преподавал «физику II» с 1961 года, то есть едва ли не с самого его основания. Зав. кафедрой общей физики, А.М. Будкер, пригласил меня читать этот курс, едва лишь я защитил кандидатскую.

Он определил его предмет как все, что не входит в «физику I» (элементарные частицы и поля), читавшуюся параллельно. Весьма оригинально. Ко мне отошла вся физика коллектива частиц, в виде газов из молекул и фотонов, а также жидкости и твердые тела. К моменту описываемых событий, то есть почти 10 лет спустя, я был уже популярным лектором, издавшим несколько пособий по своему нетрадиционному курсу и возглавившим самопровозглашенную специализацию (считай кафедру) молекулярной физики.

Так или иначе, но ко мне стали доходить слухи об ограничении доступа евреев в НГУ. О таком здесь прежде и не слыхивали. А однажды ввечеру ко мне заявилось доверенное лицо и выложило на стол пять сочинений абитуриентов, поступавших на физфак. Пять безукоризненных работ, под которыми стояла резолюция – нераскрыта тема – и оценка: 3. Более того, этот вердикт приемной комиссии был зачеркнут, и тройка заменена двойкой. Подпись Молетотов, бывший второй секретарь райкома, ставший преподавателем научного коммунизма и по совместительству – секретарем партийной организации НГУ. Резко и мерзко запахло одесским университетом.

Хуже того, среди показанных мне из-под полы сочинений было и два нееврейских. Одно принадлежало некоему Хайновичу, фамилию которого, судя по всему, прочитали как «Хаймович», а у него мать и отец белорусы. Последний, бывший партизан, приезжал даже выяснять отношения, но поезд ушел, насколько мне известно. Еще более поразительно, что в эту кампанию затесался чистокровный русский из Омска, победитель зональной олимпиады по журналистике. Его сочинение на вольную тему представляло собой некую фантазию о неординарном и рискованном событии в космосе, «за которым ты, экзаменатор, спокойно наблюдаешь по телевизору, удобно развалившись в своем кресле». Вот это-то «ты» и стоило ему провала на экзамене по русской литературе. Вместе с евреями изгоняли и всех свободомыслящих и незаурядных. А также своих, из Академгородка, «к которым у нас требования выше», говаривал радетель за «наших», из сел и весей, некто Биченков, один из юдофобствующих проректоров НГУ, весьма заурядный физик из института Лаврентьева.

Этому надо было противостоять, и я попросил аудиенции у «деда». Я сказал ему, что мне известно, как изменился политический климат Новосибирска, но происходящее в университете – это настоящая вакханалия, вычищающая из него все мыслящее и талантливое. Если ее не остановить, НГУ очень быстро превратится в заурядный провинциальный вуз типа Одесского университета, о котором мне известно не понаслышке. «Дед» выслушал с пониманием и отвечал:

– Да, мне уже известно об этом, не порядок. Я сказал ему (Биченкову): уходи из университета. Он не хочет! Тогда я пригрозил ему: не уйдешь – уволю из института.

Поддействовало. Одного антисемита смыло из университета, но не моя в том заслуга. Как выяснилось недавно, до меня у «деда» побывала его внучка, ходатайствуя за своего выдающегося школьного соученика-еврея, отфильтрованного подобным же образом. Дед потребовал восстановить справедливость, но Биченков упорствовал, говоря, что слишком поздно. Тогда-то «дед», всегда его недолюбливавший, и употребил свою власть. Едва ли не безграничную в Академгородке.

К сожалению, Биченков и иже с ним успели все-таки изрядно навредить. Иссяк поток столь же талантливых сколь активных переводчиков из периферийных вузов, украсивших первые выпуски новосибирского университета.

Это явственно ощущалось на младших курсах, где контингент стал значительно слабее. Многим из тех, кому я ставил тройки на экзаменах по своему курсу, не было никакого смысла продолжать у нас учебу, а тем более рваться в науку по окончании НГУ. Как руководитель специализации, обеспечивавшей новоиспеченными физиками все химические и некоторые биологические институты городка, я был остро заинтересован, чтобы эти кадры были как можно лучше. А для этого жестче должен был быть их отбор и селекция. С этой идеей я и заявился к ректору университета, члену-корреспонденту Спартаку Беляеву, предложив узаконить, ввести в норму перевод на третий курс способных студентов из других университетов. И уж если возвращать их обратно, то прекрасно образованных в наших стенах.

– Спартак, – сказал я ему, – я сам гнил в периферийном вузе до самого конца, почти не имея шансов выкарабкаться, и я считаю своим долгом выручить тех, кто сейчас находится в таком же положении. Тем более что это в наших интересах.

Но Спартак не желал ввязываться.

– Это куча забот, переписки, возни. Не по мне все это.

– Да ты только прикрой меня своим академическим званием, все остальное я сделаю сам.

Не соблазнился Спартак, баловень судьбы, номинальный ректор, ни в какой активности и самостоятельности не замеченный.

Раздосадованный неудачей, я рвал и метал. Треклятая пассионарность рвалась наружу в поисках выхода. И он нашелся. Я сел и написал статью в «Известия», объясняя и защищая свои резоны. Святая простота! Будучи со всех сторон невыездным, я не знал и не ведал, что изобретаю велосипед. То есть двухступенчатое высшее образование, принятое во всем мире. Между прочим, в моей статье, называвшейся «Свое место в жизни» и опубликованной 24 июля 1970 г., содержался пассаж, набранный мелким шрифтом: о судьбе нашей университетской группы теоретиков, уклонившихся, как и я, от своих распределений. Последнее читалось между строк, сообщавших о том, какую карьеру эти провинциалы сделали в СО АН, в Новосибирске и Красноярске. Сотрудница «Известий», курировавшая публикацию статьи, очень радовалась, когда обнаружила этот пассаж напечатанным, не вырезанным дежурным коллегой, отвечавшим за выпуск. Вот такая шла между ними игра: я – писатель (пробиватель), ты – цензор, и, наоборот, в зависимости от того, кто дежурит.

Как уже было замечено, был я в ту пору «не читателем, а писателем». Но в Одессе жил мой отец, регулярно просматривавший центральную прессу. Он-то и сообщил мне, что на статью откликнулся министр Высшего образования (Елютин, кажется), который высоко оценил идею, способную подтягивать провинциальную науку и образование до уровня столичных университетов. Само по себе это было не удивительно. Реакция на критические выступления прессы была в ту пору обязательна для чиновников всех рангов. Удивительна другая публикация, появившаяся в тех же Известиях годом позже под рубрикой «По следам наших выступлений». В ней сообщалось о создании Высшей школы физики при МИФИ (Московском инженерно-физическом институте), в которую принимают только с третьего курса периферийных вузов.

Ну, создана и создана. Замечательно. Узнал, порадовался и забыл. Но несколько лет тому назад меня ждал в Берлине подлинный сюрприз. Я приехал туда уже из Израиля, как Гумбольдтовский профессор и был поселен в ведомственной гостинице для ВИП. Она представляла собой коттедж из трех спален на втором этаже и общей гостиной-столовой на первом. Там-то я и познакомился с коллегой, молодым, импозантным физиком из Одесского университета. Оказалось, что этот земляк с третьего курса перевелся в Москву, в ту самую Высшую Школу Физики, и, окончив ее, вернулся преподавать в Одессу. Разумеется, он не знал, да и не мог знать всю предысторию, но был живым воплощением моего успешно состоявшегося реванша. Не каждому пассионарию, дерзнувшему переустроить жизнь, дано настолько преуспеть в этом. Разве что потрафит его Величество Случай, низкий ему поклон.

Минуя КГБ и КПСС

О том, что мы «под колпаком» КГБ мне было достоверно известно едва ли не с самого начала. Один незадачливый ухажер нашей активистки, постоянно обретавшийся «Под интегралом», похвалялся ей своей службой и своими полномочиями. Для убедительности он продемонстрировал ей, как мгновенно выясняется подноготная любого из нас посредством его звонка по телефону автомату в родное ведомство. Шоком для нас это не стало. Это было в порядке вещей в той стране, в то время. Но одним лишь досье органы не ограничивались: в стукачи меня вербовали трижды.

Наиболее серьезно в первый раз. Случилось это вскоре после дебюта в Интеграле операторов Би-би-си, снимавших репортаж об Академгородке. Дискуссия, как всегда, была свободной и обо всем, но англичане обличали отсутствие свобод, экспансию и закрытость СССР совершенно прямолинейно, без обиняков, в отличие от полемизировавших с ними наших граждан, всегда стесненных самоцензурой. Выиграть эту партию с чистой совестью было невозможно, но, будучи ведущим, я старался хотя бы свести ее вничью, уклоняясь и

контратакуя. В какой-то момент мой оппонент, прямо глядя мне в глаза, произнес: я вам не верю. Он был прав, но хватил чересчур, не делая скидки на разницу в нашем положении и ответственности.

Меня пригласили в ничем не примечательную квартиру в обычном жилом доме. Оказалось – офис КГБ. В самой маленькой из комнат мне предложено было рассказать о случившемся в Интеграле моему визави за письменным столом, чин которого остался неизвестен. С легким сердцем я доложил все, что помнил, будучи совершенно уверен, что все и так известно: ведь при открытых дверях дискутируем. Однако последовало неожиданное: «Очень хорошо. А теперь изложите это же вкратце на бумаге». Вот он – момент истины. Я молчу: с бешеной скоростью прокручиваются в голове варианты поведения и возможные последствия. В итоге отказываюсь, решительно отодвигая прочь чистый лист искушения. «Но почему? Судя по Вашей блестящей полемике с иностранцами, Вы настоящий патриот и должны быть полезны Родине в любом качестве». Руки моего собеседника, положенные ладонями на стол, подрагивают, как у кошки перед прыжком. Но мой выбор уже сделан: «Я не смогу быть столь убедительным в дискуссии, если буду спорить не сам по себе, а по долгу службы». Так продолжается некоторое время: он – мне, я – ему, как вдруг руки перестают дрожать и исчезают со стола, а сам их обладатель, отчаявшись искушить меня, мигом расслабился и потерял интерес к беседе. Я свободен.

Спустя несколько дней один из моих приближенных, распираемый чувством собственной значительности, известил меня, что удостоился сходного предложения и склонен принять его: «Лучше уж я, чем кто-нибудь другой» – заключил он. Я не возражал: мне тоже было полезно знать, откуда и какая информация будет стекать в КГБ. Я и сам иногда сливал туда тщательно процеженную информацию, свидетельствующую о нашей благонадежности, через свою чрезмерно любознательную пассию, на которой лежала тень подозрения.

Во второй раз я подвергся искушению много лет спустя после краха «Интеграла», сделавшего «железный занавес» совершенно непроницаемым с моей стороны. Куратор нашего института от КГБ был женат на учительнице, подруге и коллеге моей жены. Мы иногда обменивались визитами и состояли в неплохих отношениях, так что с новым предложением ко мне подъехали чисто по дружбе. Оно состояло в том, чтобы докладывать о своих контактах и коллегах в западных странах, которые отныне станут все доступными для меня. Мой отказ удивил куратора: это же не на своих стучать, а просто добывать полезную для страны информацию, – убеждал он, – тебе ведь хуже пребывать здесь в полной изоляции от своих коллег, а им по сути это все до лампочки. Пусть мне будет хуже, заключил я, и этот ответ ему навсегда запомнился, как выяснилось впоследствии. Видать, зауважал.

В последний раз это был, как и положено, фарс. Уже в годы горбачевской перестройки молодой человек, сменивший прежнего куратора, подлез ко мне с тем же предложением. Меня это просто рассмешило: не могло же быть для него тайной, что уже дважды подобная миссия проваливалась. То ли не радив был в чтении ведомственных документов, то ли чрезмерно инициативен. На этот раз я отказался, не стесняясь в выражениях и ничем не рискуя. Мир уже был открыт для меня и закрытию не подлежал. Годы спустя, приехав как-то в Новосибирск уже из Израиля, я обнаружил его почти в том же качестве, хотя и по обновленному ведомству, и имел удовольствие провести вместе время на Обском море, загорая, плавая и не вспоминая о старом. Не ради сохранения глаза, а просто из политкорректности.

Теперь о партии. Из комсомола я выбыл по возрасту уже безо всяких иллюзий относительно «руководящей и направляющей силы советского общества», зная как мобилизуется эта сила в узкокорыстных интересах конкретных членов КПСС. Свежеиспеченный коммунист, Виктор Чибрикин, мой давнишний московский приятель и коллега, встретив однажды такого же новобранца, цинично спросил его в моем присутствии:

– Ну что, вступил?

– Вступил, – вздохнул тот.

– Не горюй, оботрешься и пойдешь дальше – успокоил его Витя.

Что до меня, то «об том, чтоб мараться» не могло быть и речи, но слава Богу в институте никто ко мне с этим и не приставал: все было понятно по умолчанию.

Но однажды, когда «Интеграл», подвергшись мощному профсоюзному прессингу, объявил о самороспуске, РК ВЛКСМ посулил нам палочку-выручалочку в обмен на предварительную цензуру всех наших программ. В ходе острой дискуссии в райкоме мы отвергли это «благодаяние», ссылаясь на устав клуба и на то, что члены его, комсомольцы, успешно контролируют все сами и не подкачают впредь.

Тут-то секретарь РК Костюк и поставил вопрос в лоб:

– А почему это никто из твоих комсомольцев, даже выбыв по возрасту, не вступает в КПСС?

– Но это ведь вопрос личного выбора и причины могут быть разными, откуда мне знать, – парировал я.

– Ну а ты, лично ты, – наступал секретарь, – почему до сих пор вне партии?

– А я не согласен с ней по вопросу о женской эмансипации, – нашелся я, – я убежденный сторонник Домостроя. Потому и холостяк, что не находится девушка, солидарная со мной.

На том было и разошлись, замаяв дело. Ан нет. Через год мне аукнулось.

Было это сразу после краха «Интеграла» и моего несостоявшегося остракизма: гора, родившая мышь, настаивала хотя бы на изменении к худшему данной мне институтом характеристики для защиты докторской диссертации в Москве. С этой целью и заявился Костюк со товарищи в наше партбюро, доказывая, какой я есть плохой. Но партбюро упорно с этим не соглашалось, потому что формально я был абсолютно безгрешен. И тут высокий гость достает «аргумент свой единственный», вынул и на стол положил.

Заседал партийный синклит до поздней ночи, а я ждал его решения дома, но так и лег спать, не дождавшись. Наутро поднимаюсь по институтской лестнице, а навстречу мне секретарь нашего партбюро, один из могижан, прибывших в Новосибирск из Москвы в одном вагоне со мной и нашим шефом, Воеводским.

Увидев меня, побагровел и прямым матом:

– Ты что же, так твою и раззтак, зачем ты им такое говорил?

– Что именно, Юра?

– Что дескать не согласен с нашей партией?

– А по какому вопросу, Юра?

– По сексуальному!

При всем драматизме ситуации меня разобрал смех, если не сказать хохот. Отсмеявшись, я невинно поинтересовался:

– А какова точка зрения партии по этому вопросу, Юра? Не более скольких раз (в день, в неделю) или, может быть, существуют некие указания насчет поз?

Дошло.

– Все равно не надо было говорить, – буркнул он, удаляясь, дескать не упоминай имя сие всеу.

И смех, и грех. Характеристику мне, конечно, подпортили, обозначив «нечеткие идейные позиции», но на ученый совет «Химической Физики» это впечатления не произвело, в отличие от двухтомника «Квантовая кинетика», представленного мною к защите.

Вскользь о карьере

Не следует думать, что волны антисемитизма не докатывались до меня в застойные времена. Начать с того, что сразу после фестиваля по настоянию партбюро университета меня формально уволили с кафедры общей физики. Но даже, не получая зарплаты, я продолжал читать свой курс еще несколько лет по личному разрешению Беляева. Однако следующая, антисемитская волна накрыла и его. Курс был сочтен излишним и ликвидирован, исключительно для того, чтобы освободиться от лектора. Для меня самое прискорбное в этом было то, что мое отлучение от общей физики состоялось при молчаливом попустительстве только что назначенного заведующего кафедрой, профессора Димова, с которым мы приятельствовали и вместе путешествовали по Судзухинской тайге близ Японского моря и по нехоженным тропам вокруг Байкала. В отличие от этого «зиц-заведующего» кафедрой, Спартак Беляев, по-видимому, тяготился возложенной на него миссией и, покидая Академгородок через несколько лет, завещал исправить допущенную несправедливость. Что и было исполнено: я вернулся на курс и на кафедру.

Увы, моего изгнания из общей физики оказалось недостаточно. Начались нападки на виртуальную кафедру «Молекулярной физики», которую я де-факто возглавлял. А это множество спецкурсов, читаемых разными профессорами десяткам студентов, проходящим практику или делающим свои дипломы во всех химических институтах. После партийного собрания, на которое меня, беспартийного, предупредительно пригласили, чтобы выслушать каскад немотивированных нападков на кафедру, я решил, что пришла пора ставить точку на своем подвижничестве.

Пригласил к себе декана физфака вместе с директором своего института и объявил, что готов передать кафедру последнему под обещание официально произвести меня в заведующие теоретической лабораторией, которой я руководил уже несколько лет, тоже де-факто. Предложение было принято, кафедра из «молекулярной» стала «химической», и обещание тоже было исполнено, не прошло и двух лет. Новообретенная лаборатория Теоретической химии стала моей последней «тимуровской командой», иногда разбухавшей до 15 и более сотрудников, аспирантов и практикантов, где 5 дней в неделю я «служил», а в остальные отдавался научной работе.

Очень важный компонент этой работы, который невозможно игнорировать, – это международные научные контакты. Уж не знаю почему, но то, что возможно объяснить коллеге буквально на пальцах, то есть на словах и картинках, неизбежно выливается при опубликовании в многостраничные статьи, зачастую трудные в прочтении. Не говоря уже о литературных справках и ссылках, которые в одночасье удается добыть из головы собеседника, вместо того чтобы днями, а то и неделями, искать их в библиотеке или Интернете. Поэтому-то и мигрируют ученые по разным странам и весям, посещая конференции, симпозиумы и семинары, набираясь уму-разуму. Что до отечественных весей, то все они были к моим услугам, а вот иные страны – «зась» (табу «по-одесски», возможно украинизм). Не пускали меня никуда и до, и после краха «Интеграла». С подкупающей откровенностью мне объяснил это секретарь партийной организации института, с которым мы в одном вагоне приехали некогда в Новосибирск вместе с ВВ.

– Ну, посуди сам, – говорил он – ты беспартийный, холостой и еще еврей ко всему прочему.

Дискриминация по 5-му пункту была обыденной реальностью наших дней и воспринималась чуть ли не как норма жизни. Но я не готов был с ней мириться.

Однажды меня пригласил на месяц в Софию мой болгарский коллега, Иван Иванов, с которым я познакомился в Москве. В то время шутили: курица не птица, а Болгария не заграница. Увы, не для меня. Как и всегда, мое ходатайство о заграничной командировке зависло, и я решительно пошел к деду. Как ученый, он прекрасно понимал меня и, подняв трубку, стал при мне убеждать кого-то в обкоме снять с меня табу, фантазируя на ходу:

– Понимаешь, э-э-э, тут меня на днях встретил Президент Болгарской академии наук и очень просил направить к ним профессора Бурштейна. В порядке оказания помощи, так сказать, братской республике. Очень просил.

На том конце провода просьбу уважили, и я впервые выехал из СССР как никто из ученых ни до, ни после не выезжал. Как специалист-консультант по СЭВу с большой зарплатой (за болгарский счет), вместо мизерных командировочных. За Болгарией последовали (уже в обычном порядке) Польша, Чехословакия и Восточная Германия. В то время существовала научная кооперация между всеми народно-демократическими странами в области квантовой химии, так что поводов для встреч хватало.

Иное дело – капиталистические страны. Прорваться туда все равно, что преодолеть вторую космическую скорость. Все мои попытки тонули в проволочках, пока не становилось поздно. Какое-то время я относился к этому индифферентно, но, в конце концов, стал очень тяготиться сложившейся ситуацией, даже подумывал об эмиграции. В моей лаборатории был лишь один член партии (но зато партийный секретарь института), принятый на работу еще самим ВВ. Мой ровесник, он объехал уже полмира, и возникал естественный вопрос: почему только он, а не я, равно как и мои ученики, которые тоже в этом нуждались. Все тот же треклятый вопрос – национальный, еврейский.

Однажды, пребывая в расстройстве после очередного провала очередного заграничного турне, я принимал на своей кухне чету Никитиных – бардов, гастролировавших в городке. Справившись о причинах моего дурного настроения, Татьяна неожиданно выдала:

– А знаешь, один наш приятель тоже постоянно получал немотивированные отказы, пока не собрался с духом и обратился в КГБ: доколе? И это сработало, его выпустили за границу.

– Замётано, – тут же сказал я, моментально оценив идею. Но обращаться в КГБ, размахивая белым флагом, я не собирался. Разные представители комитета госбезопасности трижды пытались меня завербовать, суля открыть все границы, но не преуспели. Нет, я обращаюсь через их головы прямо в обком партии, первым секретарем которого стал Филатов, сменивший на этом посту ретрограда Горячева, жаждавшего выслать меня из Академгородка после громкого закрытия Интеграла.

Так я и поступил, написав партийному вождю, что отказывать мне проволочками некрасиво, тем более 15 лет спустя после краха Интеграла, когда даже многие преступники уже выпущены из мест заключения.

«Разве Вы не обладаете достаточной властью, чтобы решить этот вопрос открыто, в ту или иную сторону. Даже если он будет решен не в мою пользу, я выиграю, так как перестану терять время на бессмысленное оформление выездных документов». Вот так или приблизительно так написал я ему и послал письмо в единственном экземпляре институтской почтой, во избежание утечки информации.

К общему удивлению ответ был положительным, и меня выпустили в Германию (на этот раз Западную), вдвоем с директором института академиком Ю.Н. Молиным, которому в силу «осведомленности» не полагалось ездить одному. Последнее обстоятельство, однако, нисколько не стесняло нас, приятельствовавших еще со времен ВВ.

Итак, лед был сломан, и наука торжествовала. Кроме того, я впервые в жизни держал в руках твердую валюту и мог расходовать ее по своему усмотрению.

Первым делом я купил дочке роликовые коньки, а вторым – заплатил вступительный взнос в EMLG (европейскую группу молекулярных жидкостей), куда меня давненько зазывали. Оказавшись там единственным представителем социалистического лагеря, я был тут же включен в руководящий орган сообщества, который вскоре поручил мне провести очередную ежегодную конференцию группы в Новосибирске. Что и было осуществлено в Академгородке силами моей лаборатории. Дальше – больше. Я гастролирую по Франции, Италии и Ирландии (исключительно за их счет) и попадаю в редколлегию международного журнала «Химической Физики». К этому времени я печатаюсь уже почти исключительно в зарубежных журналах, что кратчайшим путем приносит известность в научных кругах.

Единственное, что мне не дано – это членство в отечественной академии, куда избраны иные мои однокашники и уже баллотируются ученики. Но это в порядке вещей. Пару раз и я выставлял свою кандидатуру как прежде говорили в Одессе «зафантаж» (для «понта»), не питая ложных иллюзий и нисколько не переживая фиаско. На моей памяти от сибирского отделения за все время его существования не был избран ни один еврей. Исключая разве что Будкера, избранного ещё в Москве и двух биологов из Красноярска.

Впрочем, невелика честь. Академия уже не та, что была во времена оттепели и ранее, и не последнюю роль в ее деградации сыграло Сибирское Отделение АН СССР. Созданное при Хрущеве ради децентрализации науки и освоения Сибири, оно достойно послужило этим целям, но стало подлинным троянским конем академии. Вместо 50 претендентов на одно место в Москве, в Сибири бывало в 10 раз меньше и даже из них лишь один, заранее известный, имел реальные шансы на успех. Это непременно был администратор, директор или зам директора, и, конечно, член партии, кандидатура которого одобрялась

обкомом. Канули в прошлое времена относительной независимости Академии, сибирское отделение которой заполнили, наряду с нормальными учеными, многочисленные стяжатели и приспособленцы.

Каково соотношение между ними, неожиданно выяснилось при избрании академика Сахарова в Верховный Совет. Он выбирался от Академии, но ее Президиум к общему нашему стыду отвел эту кандидатуру. Это вызвало взрыв возмущения в институтах, некоторые из которых вышли на демонстрации протеста. Чтобы замять дело, упомянутое решение быстро пересмотрели и постановили вынести вопрос на общее собрание Академии, с привлечением «выборщиков» от институтов. Последних было вдвое меньше, чем академиков, но они были единодушны в отношении поддержки Сахарова. Я это знаю не из вторых рук, поскольку сам был одним из них, представляя наш институт. После бурных прений состоялось голосование, и Сахаров прошел двумя третями голосов. Поскольку одна треть принадлежала нам, выборщикам, значит, в Академии голоса разделились поровну: половина её членов проголосовала против!

Для меня это был шок. Я, конечно, подозревал, что академия сильно разбавлена коллаборационистами, но не ожидал, что настолько сильно. Именно поэтому, выступая еще до голосования, я обратился с высокой трибуны к самому представительному собранию, призывая его принять судьбоносное решение о будущем функционировании Академии и ее институтов. Я говорил, что академики, часто уже немолодые и отрешенные от науки люди, не должны играть ключевой роли в распределении финансов, кадровой политике и научной ориентации институтов. Что передовые веяния лучше отслеживаются активно функционирующими учеными и именно составленные из них советы и общесоюзные органы должны определять судьбы науки в стране. А академики пусть себе почуют на лаврах со всеми своими привилегиями.

Еще один велосипед! Так дело и обстоит во всех странах мира, где есть национальные академии. Обычно это закрытые клубы, членство в которых не дает никаких преимуществ в науке. Последняя самоуправляется и самоокупается за счет правительственных и частных грантов. Но это там, а в Москве мое кощунственное предложение было вовсе не ко двору, особенно призыв принять его общим голосованием. Едва дослушав до конца, председательствовавший, президент академии Г. И. Марчук, заявил примерно следующее:

– Нет резона голосовать за это предложение, потому что как раз сейчас мы обсуждаем в Президиуме еще более радикальный проект реформирования Академии. Он уже в пути.

Будучи хорошо знаком с академиком, несколько лет властвовавшим над Сибирским Отделением АН, я ясно осознавал, что нас очередной раз дурачат (лапшу на уши вешают) дабы отвести реальную угрозу от Академии наук. Но не скажешь же это с высокой трибуны! Стоишь, беспомощно разводя руками.

Вконец раззадоренный я обратился в следующий раз к более широкой общественности, опубликовав свою программу в Литературной газете (№ 45 от 7.11.90) под хлестким заголовком:

«Почему наша наука вскармливает академиков, а зарубежная – нобелевских лауреатов?»

Газета вышла как раз в канун голосования по моей кандидатуре в член-корреспонденты СО АН. Наверное, ее отвод доставил кое-кому подлинное удовольствие.

К великому сожалению, это мое жертвоприношение, не возымело никакого действия. Время было уже другим. Авторитет печатного слова быстро падал, а престиж науки еще быстрее. Лучшие ученые, на которых за рубежом был большой спрос, чем в Академии, покидали страну один за другим. Настал и мой черед. Выезжая на год в Израиль по приглашению Института Вейцмана, я еще не знал, что останусь там навсегда. Но буквально через неделю по прибытии на место назначения с женой и дочерью я был сражен известием о путче ГКЧП. Его провал обозначился уже на следующий день, но вслед за ним исчезла с карты мира и страна, которую я покинул. А страна, которую я обрел, решительно раздвинула мои горизонты, подружила с компьютерами и освободила от материальных забот. Сбросив бремя административных обязанностей, я полностью отдался науке. Через год я и моя жена осознали, что у нас нет ни резонанса, ни желаний возвращаться, и я довел до сведения института, что хотел бы получить в нем постоянную позицию. Еще год ушел на трехкратную международную инспекцию моего научного реноме, обязательную при соискании профессуры в институте Вейцмана. Реноме не подвело, и институт распахнул предо мной свои двери. Спустя полгода я принял израильское гражданство, не отказываясь, впрочем, и от российского. То есть, не отрываясь от немногих оставшихся в Сибири учеников своих, в соавторстве с которыми я опубликовал здесь десятки

статей и несколько монографий на английском языке, ставшим теперь языком научного общения и для нас, «валенков».

Эпилог

Профессор MIT Роберт Силби любит вспоминать, как, встретившись с ним впервые на какой-то конференции во Франции, я якобы представился «евреем из Одессы», на что он ответил в тон: «а я еврей из Бостона». Очень похоже на легенду, но если подобная самоидентификация всё же имела место, значит, превращение в еврея действительно состоялось. Однако быть евреем в СССР значило совсем не то же самое, что в США, о чем предметно свидетельствует все вышеизложенное. Не родился я «в стране героев, стране мечтателей, стране ученых», стал ли бы я так убиваться из-за школьных оценок и рваться в науку «изо всех сил и всех сухожилий»? Там, где открыты сто дорог к успеху и самовыражению, нет никакой нужды быть непременно «героем и ученым», причем в одном лице. Конечно, нет худа без добра, но добро доставалось лишь особо упорным и удачливым евреям, а худа с лихвой хватало на всех.

Однажды в Сухуми такой вот удачливый и преуспевающий, если не сказать богатый, часовых дел мастер («махер»), удивил меня тем, что собрался эмигрировать из СССР в Израиль.

– А тебе-то чем здесь плохо? – осведомился я. Он очень образно ответил:

– Если в Израиле кто-нибудь на улице скажет мне «грязный еврей», я просто буду знать, что мне надлежит пойти домой и помыться.

С этим перекликается фраза, услышанная мной от русскоговорящего коллеги-профессора, встретившего меня с семьей в аэропорту Израиля:

– Что такое еврей? Я этого не знаю. Я – израильтянин.

И это говорил человек, мать которого чудом уцелела при расстреле евреев в Белоруссии. Ну и, слава Богу, что есть такие страны как Израиль, где человек может забыть, что он еврей.

Комментарии:

Е. Майбурд

- at 2009-06-12 19:05:21 EDT

"Ну и, слава Богу, что есть такие страны как Израиль, где человек может забыть, что он еврей."
0000000000000

Туши свет!

Лида Камень

Израиль - at 2009-06-12 07:06:38 EDT

исключительно талантливая, прекрасно написанная повесть. Начав, не оторвёшься вплоть до последней строчки.

Но! у меня возникли вопросы к автору:

1. «выигрывать научила жизнь, точнее дискриминация, еще точнее – антисемитизм.» Так заявлено в самом начале... А эта повесть написана тоже из-за антисемитизма? Или всё-таки природный писательский дар потребовал своего выражения? Тогда естественно (ИМХО) предположить, что и таланты автора в науке, и его исключительные организаторские способности заставляли его ломать преграды антисемитизма, чтобы реализоваться несмотря на антисемитизм и советскую/КГБ/Бистскую власть, а не благодаря им?

2. «Я был единственным ребенком, свободно читавшим Пионерскую Правду, Жюль Верна и многое другое.» – это тоже благодаря антисемитизму?

3. «Кола Брюньон» стал моей библией, ...я переключился на античную литературу.» А сама Библия интереса не вызвала? Ведь вся литература, и живопись, и музыка 19-го века строились на библейских образах...

4.«превращение в еврея действительно состоялось», чтобы теперь радостно объявить, «слава Богу, что есть такие страны как Израиль, где человек может забыть, что он еврей»?

Борис Гольман

Хайфа, Израиль - at 2009-06-10 09:00:50 EDT

В неповторимые 60-70 Анатолий Бурштейн в Новосибирском Академе был личностью знаковой. Был ли пассионарен среднестатистический еврей в этом заповеднике талантов?

Владимир Вайсберг

Кельн, - at 2009-06-08 06:02:41 EDT

Очень хорошая статья. Если угодно, можете надо мной смеяться, Но мне все время казалось, что я читаю свою биографию. Вплоть до оценок в школе, все удивительно схоже. Благодарю автора, высоко ценю его талант, который в этот раз вылился в превосходное эссе. Желаю здоровья и всех благ!

ВЕК

- at 2009-06-07 22:03:57 EDT

Совсем другие были планы, когда открывал статью, но открыл и закрыть смог, только дочитав. Статья во всех смыслах блестящая.

Б.Тененбаум

- at 2009-06-07 21:15:17 EDT

Превосходная статья, очень интересно написанная. Замечание - отнюдь не в упрек ни автору, ни редакции - почему статьи в этом номере "Старины" одна другой лучше, а дискуссия в Гостевой ведется по принципу "слабоумный оживленно оспаривает ненормального" ? :)